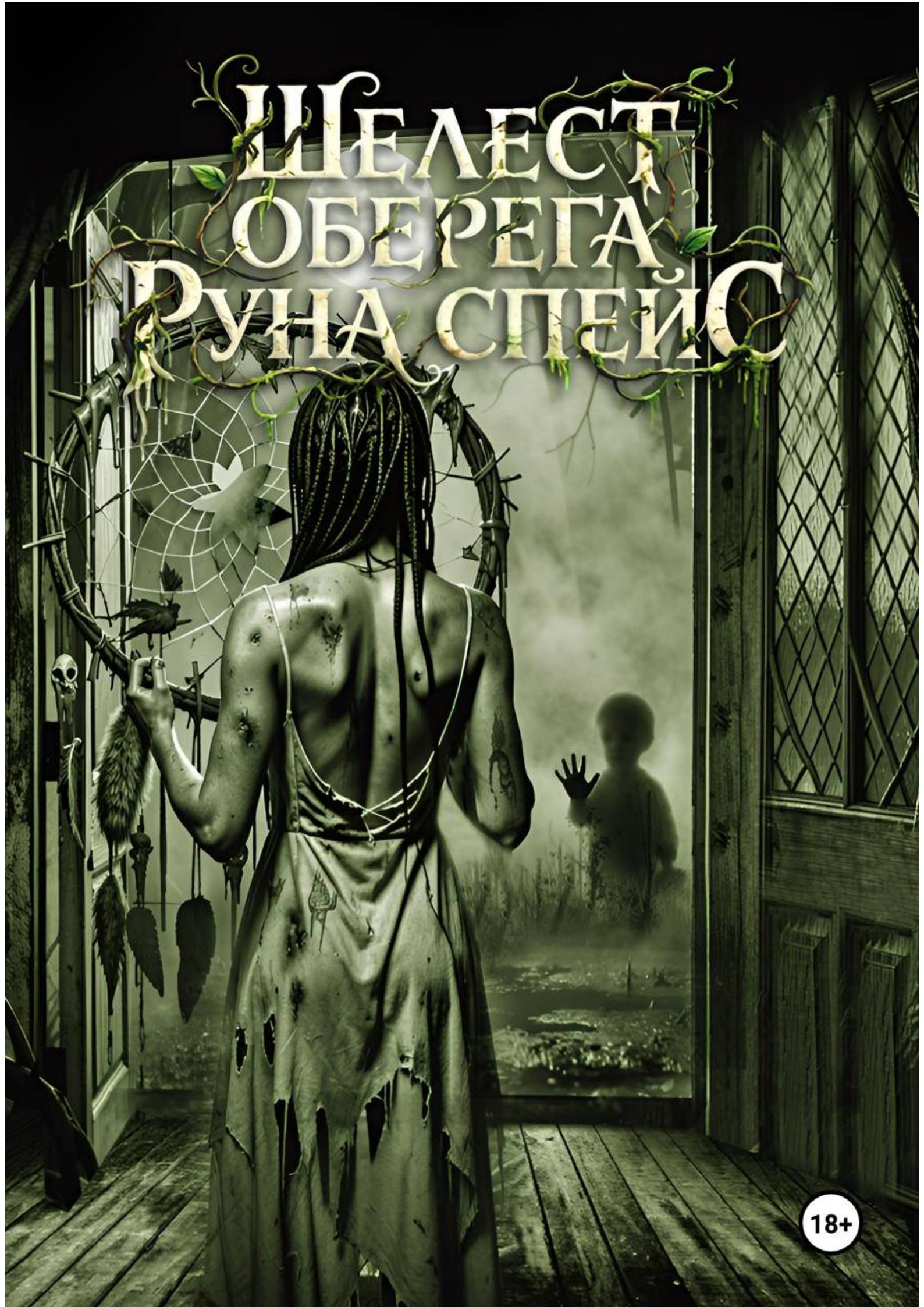


ШЕЛЕСТ ОБЕРЕГА РУНА СПЕЙС



18+

Руна Спэйс

Шелест оберега

«Автор»

2026

Спэйс Р.

Шелест берега / Р. Спэйс — «Автор», 2026

На краю света, у самых болот, стоит посёлок, забытый богом и людьми. Здесь живут и умирают так же тихо, как тонут в трясине: незаметно. Старый сруб пустовал годами, пока не дождался тех, чья мечта невелика: покой вдали от людей, купленный на последние деньги. Бытовые мелочи казались делом поправимым. Но дом помнит всё, что было в его стенах до них, как чёрное болото знает: любая жизнь оседает в глубине, под ряской, под тиной. Придёт час — без ветра колыхнётся гладь, поднимется то, что спало на дне, и напомнит о себе тихо. Одним лишь шелестом.

© Спэйс Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	17
Глава 4	21
Глава 5	29
Глава 6	36
Глава 7	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Руна Спэйс Шелест берега

Глава 1

Осень в этот день заявляла о своих намерениях решительно и без лишних слов — пробирающим до костей ветром и нудной изморосью. Ветер не просто дул, он ощупывал прохожих холодными пальцами, норовя забраться за воротник и прошить насквозь ознобом. А дождь — противный, косой и мелкий, как пыль, — не столько мочил, сколько создавал вокруг атмосферу сырости и безнадёги. Он мерно барабанил по карнизам, стекал холодными струйками за шиворот и заставлял невольно вжимать голову в плечи. Лужи расставили на тротуаре и дорогах настоящие ловушки. Они караулили за каждым углом, притворяясь безобидными зеркалами, маскировались под мелкие лужицы, чтобы в следующий миг жадно хлопнуть, обжигая холодом сквозь промокшие ботинки. Напитанная водой обувь тут же тяжелела, а брызги от проезжающей машины могли настигнуть врасплох, добавив мокрых пятен на и без того сырую одежду. В такое промозглое утро выйти из дома мог только отъявленный оптимист или тот, кого гнала в путь жёсткая необходимость, не терпящая возражений.

Среди таких угроз люди не толпились на улицах. Они не гуляли и не фланировали — они перебегали, быстрыми, нервными рывками, от здания к зданию: пять метров бегом под козырёк остановки, потом перебежка до арки, потом, переведя дух, — до следующего подъезда. Спины сгорблены, руки судорожно сжимают намокшие ручки зонтов. Люди, похожие на грибы-переростки под своими чёрными куполами, хаотично сновали по тротуарам, решая свои неотложные дела. Зонты сталкивались краями, их владельцы даже не извинялись — всем было не до того. Ветер и слякоть, каждый сам за себя с выраженным желанием поскорее нырнуть обратно в укрытие. Человечки хаотично, по одному, выныривали из ниоткуда и так же внезапно исчезали в дверях, оставляя после себя только мокрые следы на полу.

Антураж мельтешения мокрых зонтов, нервных перебежек и всеобщего стремления поскорее укрыться без компромиссов разбивала фигура мужчины, который никуда не спешил. Он сидел неподвижно, словно каменное изваяние, которое ветер и дождь обтекали, но не могли сдвинуть с места.

Лет сорок с небольшим, русые волосы выбивались из-под глубоко надвинутого капюшона потёртой толстовки. Аккуратная борода — в ней, если приглядеться, уже поблёскивали первые серебряные нити, выдавая не столько возраст, сколько усталость, осевшую в складках у глаз. Мужчина не прятал лицо от дождя — капли стекали по щекам, терялись в бороде, но он словно не замечал их. Пальцы левой руки машинально сжимали свёрнутый зонт, носимый лишь для порядка, будто защита была не нужна. Правая рука, поднесённая к лицу, держала сигарету; дым не успевал подняться, как ветер хватал его, трепал, и серая пелена смешивалась с мелкой моросью.

Весь вид путника говорил: он не был ни оптимистом, не замечающим непогоды, ни жертвой обстоятельств, которую вытолкнула на улицу жестокая необходимость. Нет — мужчина просто устал. Так сильно, что холод и сырость перестали быть врагами. За спиной угадывался такой груз и тяжесть, перед которой даже решительно наступающая осень со всеми её ловушками казалась пустой суетой. Он слушал тишину. Наслаждался. Рассуждал сам с собой.

Погода злилась, бросала в лицо пригоршни дождя, но не могла заставить его подняться и пойти туда, где его ждали. Где горел свет и было сухо. Где его присутствия, наверное, ждали сильнее всего.

Домой. Где жена и четверо детей. Шум, гам, вечные вопросы, бесконечные заботы. Именно такой груз — любовь, ответственность, усталость от вечного бега по кругу — и держал угрюмца на промозглой лавочке. Мужчина знал: стоит переступить порог — и снова начнётся. А здесь, под дождём, можно было хотя бы докурить сигарету в тишине, глядя, как торопятся жить другие, и никуда не спешить самому. Не осень гнала его под крышу. Домой незнакомца толкало другое — долг, вросший в самую плоть, и мокрая непогода была ему не ровня. И именно от этого чувства он, обессиленный, прятался сейчас под серым небом, делая последнюю затяжку.

Сигарета догорела, обжигая пальцы. Одиночка поморщился, затоптал окурок в мокрый песок и медленно, с явной неохотой, поднялся. Лавочка опустела, но в воздухе ещё висел запах табачного дыма и той особой, горьковатой усталости, которую не смыть никаким дождём.

Шаг был нетороплив, но покоя в нём не было — только глухая усталость, которая тащила тело вперёд по инерции. Поясница ныла с каждым движением, напоминая о двенадцати часах, прожитых стоя и в дороге. Он поймал себя на мысли, что счастье — дом, дети, покой — собирается сложнее, чем космический двигатель из подручных деталей. Впрочем, жизнь вся была такой — сложнее любого механизма.

Подумать только: ведь они с женой действительно любили. Так, что им хватало тесной конуры на окраине, где зимой сквозняк гулял по щелям, а летом воздух застывал плотной стеной. Им было довольно макарон на ужин и одного выходного в месяц — лишь бы быть рядом. Тогда слово «ипотека» звучало почти как обещание: вот она, цель, вот он, горизонт. Теперь оно вызывает лишь горькую усмешку.

Работа пришла стабильная, пополнение — тоже, а ипотека — нет. Потому что для молодых без капитала собственное жильё — всего лишь миф. Банки, заслышав о двух декретах подряд, вежливо, но твёрдо отправляют восвояси. И ты оказываешься в ловушке: чтобы платить за съём, нужно работать без продыху; чтобы работать без продыху, нужно жить ближе к работе; чтобы жить ближе, нужно платить за съём больше. И круг, увы, замкнулся.

Теперь у них съёмная двушка — чтобы четверым как-то разместиться. Плата за неё как за квартиру в центре, только это окраина. Окраина, откуда до работы теперь полтора часа в одну сторону. И это, должно быть, такой изощрённый замысел вселенной: мало тебе двух работ и вечной усталости, так получи ещё и дорожное истощение. Со всеми полагающимися прелестями: давка в общественном транспорте, вечные опоздания, пробки, где единственным пейзажем служат задние фары впереди идущей машины. А вечером — скандалы. Потому что жена вымоталась с детьми; потому что старший принёс двойку; потому что младший не спал всю ночь, а денег хватило лишь на самое необходимое — если честно, их не хватило вовсе. И ты сидишь, слушаешь этот бесконечный поток, и в голове одна мысль, острая и беспомощная: «Где взять?».

В здравом уме на третьего не решаются — это же очевидно. Ещё один рот, ещё одна проблема, ещё одна бессонная ночь в череде уже бесконечных. Но когда ты работаешь на двух работах; когда каждый месяц — это калькуляция «хватит — не хватит, дотянем — недотянем»; когда концы едва сходятся с концами, и вдруг с ужасающей ясностью понимаешь, что это навсегда — эта мышьяная возня, эта беличья беготня по кругу, — тогда начинаешь думать о том, как вырваться. Любой ценой. Любым способом.

Своё бы жильё. Хоть на краю земли, хоть в чистом поле, хоть в дыре, откуда до работы три часа добираться. Лишь бы не платить эту бесконечную дань за чужую конуру. Лишь бы не вздрагивать при каждом скрипе двери: вдруг хозяйка пожаловала — проверить, как мы здесь «сохраняем её имущество»? Лишь бы не жить с вечным страхом, что в любой момент тебя с твоей оравой выставят на улицу. Потому что найдутся другие — опрятнее, тише, без детей. Вот она, мечта о стабильности. Смешная. Жалкая. Приземлённая до скрежета. Пусть ипотека — кабала на двадцать лет, удавка на шее, — но своё бы жильё. Гвоздь вбить без спроса. Стену просверлить не оглядываясь. И не отчитываться ни об оплатах, ни о состоянии ремонта.

В этой бедности всё вязко. Как будто бредёшь по колено в холодной грязи — каждый шаг даётся с усилием, движения замедленные, тягучие. И страшно. До дрожи страшно свернуть в сторону, потому что под ногами — трясина. Ты прокручиваешь варианты, сотни раз взвешиваешь за и против, сидишь ночами с калькулятором, пока в соседней комнате кашляет старший, а младший всхлипывает во сне. Если честно, все эти варианты далеки от слова «свобода». Свобода — вообще из другого мира, из глянцевого журналов, которые жена иногда листает в телефоне, уловив минуту, когда дети засыпают.

Стабильная работа. Пусть за небольшие деньги, пусть выматывающая до ломоты в костях, но стабильная. А что сулят перемены? Из их привычной двушки выселят в один миг. Хозяйка уже намекала: «Рынок растёт, цены подниму». И поднимет. Им ведь некуда деваться. Четверо — включая их с женой. Рынок знает своё дело. А мужчина знает своё: терпеть, платить, молчать, работать. Терять, кажется, нечего. Кроме друг друга. Кроме этой усталости, которая стала уже общим одеялом — рваным, но тёплым.

В памяти всплыла та бесконечная, выматывающая полоса: старший метался в жару, зелёнка размазана по коже, крики, температура под сорок, а младший орал сутками от прорезывающихся зубов — ни сна, ни покоя, ни просвета. Тогда в одной из таких ночей, кухня стала их убежищем. Голова упала на руки, придавленная тяжестью; у холодильника, в тусклом свете ночника, застыла жена с телефоном в ладони.

— Смотри, — голос прозвучал тихо, почти шёпотом, чтобы не разбудить детей. — Меры поддержки. Молодым семьям. Если третьего...

Взгляд с трудом поднялся на жену. Перед ним стояла совсем другая женщина: осунувшаяся, с тёмными провалами под глазами, в старом халате, который уже не сходиллся на животе. Но в этих выцветших от недосыпа глазах горел лихорадочный огонь — надежда? отчаяние? — тогда ответа не нашлось.

Снова и снова пересчитывали вдвоём: социальные выплаты, капитал на каждого. Складывали, умножали, прикидывали на будущее. И в том бреду бедности, в той бездонной усталости, когда рассудок уже не цеплялся за логику, а сердце ныло глухо и ровно, — решение созрело. Ради клочка земли. Пусть вдали от города, от работы, от всего привычного. Пусть хоть в чистом поле. Третий ребёнок станет их билетом. Тогда государство заметит, дадут землю, тогда получится встать на ноги.

После того разговора кухня снова погрузилась в молчание. Из-за стены доносился надрывный плач младшего — тонкий, захлёбывающийся, с теми противными всхлипами, от которых сводит зубы. Старший бормотал во сне, ворочался, сбрасывал одеяло — вечно холодные ноги, надо бы проверить, да сил уже нет. С крана на кухне капала вода — монотонно, бесконечно, будто время отсчитывало последние секунды: *кап, кап, кап*. Починить — всё руки не доходят. Да и какие там руки? Вечно заняты: одни держат ребёнка, другие зарабатывают, либо, при первой возможности, просто висят плетью, пока тело пытается украсть хоть минуту сна.

Слова кончились ещё тогда, в роддоме, когда сказали: «Первый — мальчик». Чувства притупились, когда второй не давал спать по ночам. А в тот вечер остались только цифры на экране телефона — сошлись в понимании двух до смерти уставших людей. Тиски сжались ещё сильнее. Оставалось дышать — мелко, поверхностно, чтобы не разбудить детей. И двигаться вперёд, потому что назад дороги нет: её отрезало пелёнками, распашонками и кредитами.

Девять месяцев подбадривали друг друга. Шутили, что третий — как пятый угол: места не прибавит, но и не убавит, в их ненавистной двушке всё равно яблоку негде упасть. Где один — там и второй, третий и вовсе затеряется между кроватью и стеной. Тишину уже не ждали и не надеялись.

Оставалось одно — убеждать себя. Другого выхода не существовало: если не найти в этом всё смысла, кроме тупого выживания, можно было просто лечь и не встать. А вставать надо. Каждое утро. По будильнику, который ненавидишь.

Мысль прокручивалась снова и снова, как заезженная пластинка. Да, сейчас — ад. Да, сейчас — съёмная двушка, чужая, которая в любой момент может уплыть из-под ног, стоит хозяйке решить продать или поднять цену. Да, сейчас они ютятся, как сельди в бочке, и тишина остаётся несбыточной мечтой.

Но свой дом... Свой дом — это совсем другое.

Без иллюзий: ипотека — та же кабала, только длиною в жизнь. Но кабала, работающая на тебя. Каждый платёж — кирпич. Каждый год — уже стена. И когда-нибудь, пусть через двадцать лет, за этими стенами будет то, что принадлежит только им. По-настоящему.

И вот, казалось, ко всему уже готовы. Ко всем бессонным ночам, ко всем болезням, ко всем очередям в поликлинику. Хуже уже не будет, дна не пробить, оттолкнуться можно только вверх. Но судьба, видимо, решила иначе: дно — не предел. Есть ещё люк, ведущий ниже.

Их третий раз оказался двойней.

Тот день запомнился звонком с УЗИ. Тишина в трубке затянулась так надолго, что в голове успели прокрутиться все варианты — от выкидыша до онкологии. А потом голос жены, тихий, будто сама не верила:

— Там двое.

В этом «там» уместилось всё: растерянность, ужас и — где-то глубоко — едва слышный смешок. Не смех уже, а ирония судьбы в чистом виде. Планировали одного — ради жилья. Получили двух. И теперь жильё нужно не просто своё, а большое. Или очень далёкое. Или очень дешёвое. Или ничего.

Та двушка, что была, для усталого человека перестала быть даже кошмаром. Кошмар заканчивается пробуждением. Здесь же пробуждения не было — только бесконечный, липкий ад.

Утро встречало пронзительным детским криком. Не плачем, не зовом — именно криком, требовательным, на одной высокой ноте, будто парень тренировал связки к оперной карьере. Звук врезался в висок раньше, чем сознание успевало включиться. Второй подхватывал — ниже, надрывнее, со всхлипами. Близнецы-девчонки вторили дуэтом — тонко, противно, перебивая друг друга, будто соревновались, кто дольше продержится без передышки.

Жена носилась между кроватками, кухней и ванной — вечные маршруты, где на полу лужицы воды. Не ходьба — перелёт от крика к крику, от проблемы к проблеме, и всё сыпалось из рук. Ложка падала на пол, пустышка терялась под кроватью, бутылочка опрокидывалась, заливая стол молоком. Пространство квартиры сжималось, давило на глаза, виски, грудную клетку — стены будто двигались внутрь, ещё немного — и раздавят совсем.

Улыбка женщины исчезла. Память лихорадочно перебирала дни, пытаясь поймать последний раз, когда её видели, — и находила пустоту. Губы теперь всегда плотно сжаты, в уголках залегли складки, не разглаживающиеся даже во сне. От прежней мягкости не осталось следа — одни острые углы: ключицы, локти, колени. Воздуха, времени, сна ей катастрофически не хватало. Болезненная худоба, измождённость, и в глазах всё чаще появлялось то выражение, от которого внутри всё обрывалось. Надежда ускользала. И всё чаще, глядя в одну точку, она повторяла: «Это не жизнь».

Прогулка с таким выводком — за гранью возможного. Коляска для двойни не лезет в лифт никак: ни боком, ни сложенной. Тащить на себе. Четвёртый этаж, два пролёта — коляску вверх, близнецы орут от тряски. Старшие уже бегают, но ещё не понимают опасности: на улице — в разные стороны, один в лужу, другой под колёса. Одно представление — и липкий пот уже на спине. Двушка — тюрьма. Для всех. Четыре стены, игрушки на полу, телевизор фоном, заглушающий тишину, которой никогда не было.

И здесь глава семьи ловил себя на страшной мысли. Настолько страшной, что он гнал её прочь, но она возвращалась снова и снова. Он думал, что ему повезло. Ему, а не ей.

Две работы, иногда три — с утра до вечера беготня, люди, дела. И там, среди этой суеты, мужчина, откровенно говоря, отдыхал. Потому что на работе был порядок, понятные задачи, отсутствие детского ора, запаха подгузников, необходимости одновременно варить суп, вытирать руки одному и попу второму, искать пропавший носок. А дорога домой — полтора часа в транспорте, в пробках, в духоте — стала для него самой спокойной прогулкой. Он смотрел в окно на мелькающие дома и просто молчал. Ничего не делал. И это было похоже на счастье. Больное, извращённое — но счастье.

Вечернее возвращение всегда было одинаковым: дверь, порог, и нога уже наступала на погребушку, машинку, подгузник. Везде что-то валялось. Везде пахло — едой, пелёнками, усталостью. Этот запах уже вьёлся в обои, шторы, одежду. Можно было открыть все окна нараспашку, можно было проветривать сутками — ничего не помогало. Запах сидел в каждой щели, напоминая: ты дома. Ты в аду.

Жена встречала его взглядом. Один взгляд — и он читал в нём всё. Там было написано крупными буквами: «Спаси».

Он пытался. Изо всех сил. Бросал сумку, скидывал куртку, нырял в гущу событий. Двое на руках, третья на коленях, четвёртая впивалась в ногу и орала — ей тоже требовались руки. Дети были как клещи: не просили внимания, а впивались, требуя всего без остатка — рук, глаз, голоса, терпения, нервов. Они проникали в голову, в уши, в каждую клетку, высасывая последнее.

И тогда, посреди этого хаоса, настигала вторая страшная мысль. Стыдная, глубоко запрятанная, но живая — она копошилась там, дышала, ждала.

Будь он на месте жены — сбежал бы. Просто исчез, растворился, уехал в другой город, лёг под поезд, утонул в той самой луже, у которой только что сидел с сигаретой. Не выдержал бы и дня в этом аду, в этой тюрьме, в бесконечной череде криков, каши, горшков и бессонных ночей. Жена держалась. Уже месяцы. Уже годы.

Взгляд скользил по спящим детям — вповалку, в тесноте, старший пинается во сне, младшие сопят в две дырочки. Всем тесно, не развернуться. Но это сейчас. А потом они вырастут. И перед ними встанет тот же вопрос, что когда-то встал перед ним: где жить?

И вот, в будущем доме — пусть крошечном, пусть в ипотечной кабале — будет опора. Для детей. Когда захотят разъехаться — появится родительский тыл. Место, куда можно приехать, оставить внуков, где всегда накормят. Если разъехаться не получится — если денег не будет хватать и им, — над ними останется крыша. Не съёмная, не чужая, а своя. Общая.

Логика была проста: сейчас закладывается фундамент — не для себя, для всех. Да, тяжело. Да, выматывает. Но если не сделать этого сейчас, дети начнут с того же нуля, с той же съёмной конуры, с тех же вечных переездов, с того же страха: завтра придёт хозяйка и скажет искать новую дыру.

А так — угол будет. Пусть маленький, пусть на краю света, но — свой. Угол, от которого можно оттолкнуться. Дом всегда пристроить можно: мансарду, веранду, ещё комнатку — когда-нибудь, если будут деньги. Главное — чтобы была эта точка опоры.

Мужчина понимал, как всё зыбко. Ипотека может убить раньше, чем выплатится. Двадцать лет — огромный срок, за который может случиться всё: болезнь, увольнение, кризис, сметающий сбережения, как пылесос. Но за эту мысль цеплялся — как утопающий за соломинку.

Потому что, если не верить, что всё это — для них, для детей, а не просто выживание, — тогда зачем? Зачем две работы, недосып, вечный гул в голове от детского плача и капающего крана?

Была бы семья — были бы силы. Семья есть. Значит, силы должны взяться. Он повторял это как мантру, как заклинание от безысходности. И силы брались — откуда-то из нутра, где

ещё теплилось живое. Из самообмана, который они с женой решительно называли «стратегией». Звучало солидно. Почти убедительно.

Рано или поздно — въедут в своё жильё. Обязательно. Не может не въехать тот, кто каждый день встаёт затемно и ложится затемно, кто считает копейки и не помнит, когда в последний раз просто сидел и смотрел в одну точку без мыслей о деньгах. И тогда этот день — сегодняшний, промозглый, бесконечный, с его дождём, лужами-ловушками и тоской плотнее сырости — станет просто воспоминанием. Чёрно-белой фотографией в альбоме, на которую будут смотреть, может быть, даже улыбаться и удивляться: «И как мы это выдержали?».

Угол нужен всем. Ему — чтобы после двух смен было куда вернуться. Жене — чтобы забыть, как вздрагивает сердце при слове «хозяйка». Детям — чтобы знать: есть место, где они не гости, где их никогда не попросят собрать вещи.

Он поднял воротник, поёжился и зашагал к подъезду — медленно, словно отсрочивая неизбежное.

«Сейчас начнётся» — мысль, всегда жившая на задворках. В ушах уже звучали отголоски плача, поверх них — запах быта: еда, полотенца, присыпка. Мужчина знал: стоит открыть дверь, и этот коктейль, замешанный на духоте и гуле голосов, ударит в лицо.

Вздохнул.

А ведь сегодня их стратегия окрепла. Слово показалось чужим, взятым напрокат из чужой, более благополучной жизни. Дорога вела через социальную опеку, банк, риелторскую контору — и в кармане лежали новости. Хорошие. По крайней мере, именно так было решено их называть. Потому что плохие — это когда отказывают, когда не дают справку, когда банк разводит руками и говорит: «извините, не проходите».

Сегодня всё прошло. Документы, справки, вся эта бесконечная волокита, из-за которой он брал дни за свой счёт и терял в доходе, — дала результат.

Бумаги в кармане куртки ощущались физически. Тяжёлые. Важные. Решающие.

Он шёл домой с вариантами.

Внутренний карман, застёгнутый на молнию, чтобы не промокло, хранил распечатки, выписки, предварительные договорённости. Два варианта. Если это вообще можно было назвать вариантами.

Первый — чуть ближе к городу: час электрички, потом автобус, потом пешком. Голый кусок земли, шесть соток пустоты, где нет ничего: ни столба, ни сарая, ни забора. Ровное поле, по которому ветер гуляет так же вольно, как по степи. «Перспективный район», — говорил риелтор, разворачивая карту и тыча пальцем в зелёное пятно. «Здесь через пять лет будет всё: магазин, школа, детская площадка, газ. Вложения, понимаете, вложения». Через пять — семь лет. А пока — копай землянку или ставь палатку. С четырьмя детьми. Картинка не сложилась — распалась на куски, как плохая фотография.

Второй — на краю света, почти за горизонтом, куда даже маршрутки не ходят, только электричка раз в день, да и та утром. Двадцать соток со старым аварийным домом. Дом — громко сказано: развалюха, в которой, судя по фотографиям, не жили лет пятьдесят. Крыша просела посередине, окна забиты фанерой, крыльцо сгнило и провалилось. Внутри, наверное, мыши, сырость и запах смерти. Но это дом. У него есть стены, печка — пусть разбитая, — и крыша, пусть дырявая. Это можно восстановить. Вложить руки, время, деньги. Убить ещё несколько лет, чтобы привести в порядок. Въехать не через пять лет, а уже сейчас — капитал на каждого малыша покроет восстановительный ремонт.

По сути, он шёл с одним вариантом.

Потому что голый кусок земли — это даже не угол. Это просто обещание угла, надежда, которая может не сбыться. Через пять лет у них просто не останется сил его строить. Адрес не согреет детей зимой, не даст крыши, когда пойдут дожди.

Вариант с развалюхой был единственным реальным шансом, единственной зацепкой, единственным «своим» — пусть даже выглядело оно так, что нормальные люди побрезговали бы подойти ближе, чем на сто метров.

Вернее было сказать: он шёл с решением.

Конечно, они «посоветуются». Так правильно, так положено, так делают нормальные семьи. Жена скажет: *«Давай взвесим все за и против»*. Он ответит ей: *«Давай»*. И вечером, после того как дети будут уложены, они сядут на кухне, уставшие до пустоты, и станут перебирать одно и то же по десятому кругу.

Но ответ уже был известен.

Потому что выбирать не из чего. Выбор — это когда есть альтернативы, когда можно отказаться от одного без потерь. У них же — только иллюзия выбора: два пути, один из которых ведёт в пропасть сразу, другой — с разбегу. Второй — это развалюха. Второй — это ещё больше работы, ещё меньше сна. Но зато — свой угол. Пусть кривой, пусть гнилой, пусть на краю света, но свой.

Перед дверью подъезда мужские шаги замедлились. Секунда — и надо толкнуть тяжёлую металлическую створку, подняться на четвёртый этаж, вдохнуть тот самый запах и начать новый вечер, новый круг обязанностей.

Но сегодня — с новостью, с решением, с надеждой, которая пряталась между строк: в мелком шрифте договора, в цифрах ежемесячных платежей, в прикидках, сколько леса уйдёт на новую крышу.

Рука скользнула в карман — бумаги на месте. Глубокий вдох, набирая сил перед тем, что ждёт за дверью, — и шаг внутрь.

Там ждала жизнь. Та самая, из которой мужчина выпал на несколько минут, сидя на лавочке под дождём. И теперь в ней появлялся новый волнительный пункт: «переезд». Ещё одна гора забот, готовая накрыть с головой.

Но за этой горой — где-то далеко, в тумане — маячило тёплое: своё. Угол. Дом.

Глава 2

Поднимаясь по лестнице в подъезде, мужчина вспомнил, что утром, когда он собирался в эту бесконечную волокиту по инстанциям, щёлкнул выключателем, а лампочка в прихожей просто не зажглась. Перегорела. Заменить нечем. И не на что. Цена новой лампочки — копейки, но и этих копеек в бюджете этого месяца просто не существовало. Они растворились где-то между пачкой подгузников и детским пюре.

Оглянулся — никого. Прислушался — только где-то далеко хлопнула дверь. Подошёл к плафону, замер на секунду, борясь с тем, что ещё теплилось внутри.

А потом просто выкрутил лампочку. Быстро, деловито, как будто, так и надо. Сунул в карман куртки, рядом с бумагами, где уже лежала надежда на новую жизнь. Лампочка звякнула о зажигалку, но он зажал её рукой, приглушая звук.

За дверью предсказуемо было настолько шумно, что будь эта конура не такой тесной — никто бы и не заметил его прихода. Крик детей, грохот на кухне, писк техники — всё смешалось в один сплошной звуковой вал, который бил по перепонкам с порога. Мужчина прикрыл дверь, щёлкнул замком, но тише не стало — шум просто замкнулся внутри, как в коробке.

Из темноты маленького коридора он наблюдал. Секундная пауза, застывшая между «до» и «после».

Сейчас он — наблюдатель, просто стоит в тени, ещё не включённый в этот хаос, ещё не разобранный на части детскими руками и бытовыми вопросами. А через миг — шаг в кухню, и там он — герой, который подарит ей надежду. Ту самую, зыбкую, с аварийным домом на краю света. Но всё же надежду.

Жена кружилась на кухне, и первая мысль, которая пришла ему в голову, была неожиданной: не фея и не волшебница. Феи порхают, волшебницы улыбаются, и творят волшебство без усилий. Она же была воином. Настоящим воином, который сражался одновременно со всей армией бытовых проблем, и те атаковали разом, со всех сторон, не давая передышки.

Стерилизатор противно пищал, требуя, чтобы его выключили, — она сбила ладонью кнопку на ходу, даже не взглянув. Духовка, которую она включила подогреть ужин, противно звенела таймером, отсчитывая последние секунды. На плите что-то булькало и норовило убежать — она перехватила крышку, убавила газ, не останавливаясь. А в ногах, прямо на полу, среди разбросанных кастрюль, грохотали старшие. Они были заняты отнюдь не игрушками — она высыпала им в кастрюли конструктор, лишь бы занять, лишь бы сидели на месте, лишь бы не лезли под руку, пока она пытается накормить младших. Две кастрюли, две кучи пластмассовых деталей, два ребёнка, которые самозабвенно гремели, пересыпали, ругались и тут же мирились.

Ни крика. Ни звука, кроме тяжёлого, сбитого дыхания. Только движение — резкое, экономное, без лишних жестов. Бутылочка — раз, в стерилизатор — два, подгоревший ужин из духовки — три, ногой отодвинут зазевавшийся старший. Молча. Страшно. Красиво в своей отчаянной собранности.

Худоба, казалось, стала ещё глубже, чем утром. Волосы, когда-то пышные, теперь стянуты в тугой хвост, выбившиеся пряди сдувались со лба — руки были заняты. Кофта на локтях протёрлась до дыр, но она этого не замечала. Тени под глазами уже не проходили — стали частью лица. Губы плотно сжаты, ни тени улыбки, только вертикальная складка между бровями, которая, кажется, въелась навсегда.

Она сражалась. За то, чтобы успеть. За то, чтобы никто не обжёгся, не упал, не расплакался раньше времени. За то, чтобы через час, уложив всех, упасть без сил и не слышать ничего, кроме звона в ушах. Она сражалась каждый день, каждый час, каждую минуту. И никогда не просила о помощи. Просто принимала её, когда он предлагал.

Он смотрел на неё и думал: она точно достойна лучшей жизни. Не этой, душевной, бесконечной. Не этой — где даже выйти на улицу с четырьмя детьми — подвиг, граничащий с безумием. Она заслуживает простора, воздуха, тишины. Хотя бы иногда. Хотя бы немного.

Несомненно, жена сможет обустроить быт где угодно. Даже на краю света. Даже в той развалюхе, где крыша просела, а пол сгнил. Она придёт туда, осмотрится своими уставшими глазами, вздохнёт — и начнёт. Выскоблит, вымоет, придумает, как разместить кровати, где повесить полки, чем заткнуть щели. Сможет создать если не уют, то порядок. Везде, где будет угол, где не надо будет оглядываться на хозяйку и бояться, что завтра скажут: «Съезжайте».

Хватило бы сил. Ей. Тогда хватит и им обоим.

Мысль пришла остро, как удар, — последняя, за которую мужчина цеплялся сейчас. Не за ипотеку, не за сотки, не за развалюху. А за жену. За то, что она есть, что она дышит рядом, что с ней не страшно даже в пустоте — хоть в поле, хоть в землянке, хоть на краю земли.

Пальцы нащупали холодный пластик выключателя, щёлкнули для верности. Машинально, привычка, выработанная годами экономии, когда каждая копейка на счету и лишний час горящей лампочки — это роскошь.

Лампочка в руке всё ещё хранила его тепло — а может, и тепло той чужой лестничной клетки, откуда она была родом. Одно движение — и резьба села плотно, с привычным лёгким сопротивлением. Щелчок. Свет залил коридор — жёлтый, чуть болезненный, но такой родной.

Вуаля. Их конура снова освещена. Маленькая победа. Незаметная для мира, но такая важная для него сейчас.

— Я дома, — сказал негромко.

Женщина вздрогнула, обернулась, и в глазах на секунду мелькнуло что-то похожее на испуг — будто её застали врасплох на поле боя, в самый разгар схватки.

Она смотрела на него в упор — сканировала, пыталась прочесть ответ до того, как муж откроет рот. Взгляд скользил по лицу цепко, профессионально, как у людей, привыкших к плохим новостям. Ждала, что он резко отрежет: «Опять отказ». Опустит глаза, пожмёт плечами, разведёт руками — и надежда снова лопнет, оставив горькое чувство безнадёги.

Сама спросить не решалась. Слова застряли в горле — комом, который нельзя ни проглотить, ни выплюнуть. Хозяйка берегла надежду, как последнюю спичку в холодном лесу: боялась лишним движением погасить этот крошечный огонёк. И просто смотрела. Ждала.

Минуты тянулись. Взгляд — прямой, не отводит. Выражение лица — ни тени виноватости, ни обречённости. Проверяла снова и снова, как детектор лжи, который не верит собственным показаниям.

Не найдя ничего, что подтвердило бы худшие ожидания, женщина чуть склонила голову набок, приподняла бровь — жест, который он помнил ещё со студенческих времён, когда она спрашивала: «Ну как экзамен?»

Тогда угрюмый улыбнулся. Не криво, не через силу, а по-настоящему — широко, открыто, как улыбаются только в детстве или в минуты огромного, выстраданного счастья. И хлопнул ладонью по внутреннему карману куртки, где бумаги жгли грудь, требуя скорее вырваться наружу, скорее подарить надежду, которую он нёс ей, как единственный трофей с этой бесконечной войны.

— Получилось? — спросила тихо, одними губами. Голос сорвался, превратился в хриплый шёпот, в котором смешались страх и отчаянное желание поверить.

Кивок. Раз, второй, третий — будто закреплял, утверждал, доказывал самому себе, что это правда.

И вдруг понял: сейчас жена заплачет. Прямо здесь, посреди кухни, под крики детей и писк стерилизатора, под грохот кастрюль с конструктором. Потому что она посмотрела на него не с усталостью — с верой. С той самой, которую он потерял уже сто раз, промаявшись по инстанциям, вызубрив наизусть все отказы и разучившись ждать. Но она каким-то чудом сохра-

нила её в себе. Выносила, выстрадала, сберегла — и теперь смотрела на него глазами, полными этого хрупкого, трепетного света.

— Есть вариант, Нэнс, — выдохнул он хрипло, сглатывая ком в горле. — Правда, на краю света. Развалюха, крыша течёт, но...

Она перебила резким жестом — вскинула ладонь, останавливая. Никаких «но». В их жизни «но» всегда значило «нет». Разговор серьёзный, решительный. И такие разговоры не ведутся между кастрюлями и орущими детьми, когда голова раскалывается, а руки заняты.

— Ивн, стоп. — голос её вдруг стал собранным, деловым — как у командира, привыкшего принимать решения в окопах. — Раздевайся и за пацанами присмотри. Потихе. — кивнула в сторону старших, самозабвенно гремящих кастрюлями, — а я девчонок уложу.

Женщина замерла на секунду, глядя на него уже по-другому: устало, но с новой искоркой в глазах. Она выиграет время. Уложит младших, приглушит шум, создаст островок тишины посреди этого бедлама. Тогда он расскажет — подробно, по бумагам, с цифрами и планами.

Ивн понял: Нэнси берёт командование на себя. Как всегда и как будет везде — даже на краю света, в развалюхе с просевшей крышей. Потому что она воин.

Пока она укладывала младших, Ивн накормил старших — быстро, ловко, без лишних слов. Усадил на подушки, вручил планшет — проверенное супероружие против шума — и запустил мультфильмы. Заворожённые, мальчишки затихли, уставившись в экран, и только иногда переглядывались, когда какой-нибудь персонаж делал нечто особенно смешное. Тишина.

Из соседней комнаты донёсся голос жены — мягкий, успокаивающий, перешедший на колыбельное шипение. Значит, близка к победе. Ещё немного — и младшие сдадутся, уснут, оставив взрослым этот драгоценный кусочек вечера.

Ивн заварил чай — крепкий, как они любили. Лимон нарезал тонкими дольками: Нэнси всегда говорила, что так красивее, даже если никто не видит. Ужин разложил по тарелкам — себе побольше и ей с горкой, потому что знал: за день она почти не прикасалась к еде. Всё делал медленно, тщательно, вкладывая в каждое движение ту самую бережность, которую они умудрились сохранить сквозь годы бедности, усталости и бесконечной беготни.

Жена выскользнула из комнаты бесшумно, как тень. Прикрыла дверь, прислушалась на секунду — тихо. И только тогда позволила себе выдохнуть и направиться к столу.

Ивн обернулся и едва не рассмеялся от умиления: она села за стол, как герцогиня, — выпрямила спину, расправила плечи, одёрнула старую, протёртую на локтях кофту. И в этот миг превратилась в королеву. Схватила вилку, бросила на него короткий, но выразительный взгляд и коротко кивнула: рассказывай.

Ужин она проглотила за минуту — обстоятельства научили её не терять времени даром. Но глаза, устремлённые на него, ждали, впитывали каждое движение, каждую паузу.

Женщина отодвинула пустую тарелку, подпёрла щеку рукой — и замерла, слушая. О вариантах, о голом поле ближе к городу, о развалюхе на краю света, о бумагах, которые жгли карман. О том, что, по сути, выбора нет.

Нэнси не перебивала и не задавала вопросов. Только смотрела на мужа уставшими, но такими живыми глазами, и в них плескалось то самое, ради чего он готов был тащить эту лямку дальше. Вера.

Ивн рассказывал бойко — даже слишком бойко, будто убеждал не столько её, сколько себя. О том, как ходил по инстанциям, стоял в очередях, перебирал справки, которые вечно терялись, не подходили по форме, требовали дубликатов. Как получал одобрение на государственную помощь — и голос его звучал почти победно, словно главный приз уже был у него в кармане.

Но незаметно для него тон начал сдавать. Нэнси уловила перемену сразу — по тому, как он переложил вилку, как отвёл взгляд, как чуть ссутулился. Потому что помощь — она, конечно, помощь. Но такая помощь предполагала наличие хоть какого-то стартового капитала.

— Они могут предоставить участки ближе, — продолжил Ивн уже тише. — Очереди, списки... Но стройка дома... — он хмыкнул, покачал головой. — Я даже представить не могу. Это ж не подъёмное дело. Найти деньги и на съём, и на строительство одновременно — нереально. Мы и так еле дышим.

Вилка застыла в тарелке. Глаза поднялись, встретились с её взглядом — и снова уткнулись в еду.

— Один вариант — с домом. — Слова посыпались торопливо, будто оправдываясь: — Надо, конечно, оценить всё по месту. Насколько это вообще можно назвать домом. Там больше двадцати лет без хозяина, как я понял. А где говорят «двадцать», чтобы продать, — значит, стоял и того больше. Может, все тридцать.

Ивн замолчал. Слова повисли в воздухе тяжёлым грузом. Предлагать жене, матери четверых детей, развалюху на краю света — было почти предательством. Но других вариантов не осталось.

— Ну... или оставить всё как есть, — добавил совсем робко, почти шёпотом. — Есть над чем подумать.

Мужчина поднял глаза, ища в её лице ответ, поддержку, хоть что-то. Но Нэнси молчала. Смотрела куда-то сквозь него — в стену, в вечность, в свои мысли.

За окном уже давно стемнело. Мальчишки, замороженные мультфильмами, начинали клевать носами — планшет делал своё дело, убаюкивая лучше любой колыбельной. Ивн перевёл взгляд на часы, потом на жену.

— Есть над чем подумать, — сказала Нэнси просто. И кивнула в сторону комнаты.

Они поднялись вдвоём — осторожно, стараясь не шуметь. Перенесли старших одного за другим на руках, почти невесомых в глубоком детском сне. Уложили в кровати, поправили одеяла, прислушались к дыханию. Всё тихо. Младшие тоже спали — убаюканные материнским голосом и теплом.

Нэнси выскользнула из комнаты последней, прикрыла дверь и замерла в коридоре. Ивн смотрел на неё, пытаясь прочесть мысли, но лицо оставалось странно отстранённым — будто она ушла глубоко внутрь себя, где решались сейчас какие-то важные, неподъёмные вопросы.

Затем жена прошла на кухню, машинально взяла со стола сахарницу — и открыла холодильник. Замерла, глядя внутрь, потом закрыла дверцу и вернула сахарницу на полку. Только тогда, заметив его взгляд, усмехнулась — устало, понимающе, одними уголками губ.

— Голова кругом, — сказала тихо. — Мысли в кучу...

Вдох. Выдох. И Нэнси развернулась к нему всем корпусом, встретила глазами и произнесла то, чего он ждал и боялся одновременно:

— Покажи.

Ивн разложил на столе выписки, справки, фотографии — всё, что удалось собрать за этот бесконечный день. Бумаги лежали неровной стопкой, некоторые замяты по краям, на одном листе расплылось пятно от уличной влаги. Он поправил их, разгладил ладонью и отодвинулся, освобождая место.

Нэнси взяла фотографии. Поднесла к свету.

Фасад. Когда-то добротный брус, деревянный, теперь серый от времени, с тёмными разводами там, где дождь годами находил щели. Окна — два больших на первом этаже, одно маленькое, одно на втором, ещё чердачное. Некоторые забиты фанерой: стёкол нет или они разбиты. Фанера старая, потемневшая, местами отошла, открывая чёрные провалы проёмов.

На снимке крыльца Нэнси задержалась дольше. Ступени покосились, две-три доски прогнили — видно даже по тому, как они просели, как темнеют поражённые участки. Но перила — кованые, столбики, держащие навес, стоят ровно. Основа целая.

Короткий кивок. Сама себе. Деловито.

Следующий снимок — вид сбоку. Здесь главное — крыша. Просела. Не критично, но заметно: конёк дал волну, кое-где шифер треснул, зияющих дыр не видно. Внутри, наверное, сырость, плесень, запах, который не выветрить. Но крышу можно перекрыть. Можно отремонтировать.

Ещё один снимок — участок. Заросший бурьяном по пояс. Высокая, жёсткая трава, сквозь которую угадываются очертания старого забора, одичавшие кусты, где-то в глубине — силуэт сарая или остатков бани. Сорняки стеной — не пройти, не продаться.

Нэнси смотрела долго. И вдруг уголки губ дрогнули — не в улыбке, но в чём-то похожем.

— Малина, — сказала тихо.

— Что? — не понял Ивн.

— Малина там. — Палец ткнул в заросли. — Видишь, листья. И крапива. Значит, земля хорошая.

Ивн смотрел на её лицо и не мог прочесть ни единой эмоции. Брови чуть сведены — но это всегда, когда она сосредоточена. Губы плотно сжаты — но это тоже всегда. Глаза бегают по снимкам, по цифрам в документах, по строкам оценок — и ни намёка на то, что творится у неё внутри.

— Я понимаю, — голос сорвался на шёпот, чтобы не разбудить детей. — Это выглядит... ну, как полная развалюха. Может, там вообще жить нельзя. Может, приедем — а там одни стены, и те завалятся. Я просто... — Пальцы взъерошили волосы, взгляд ушёл в сторону. — Я не знаю. Это единственное, что дают.

Нэнси молчала. Бумаги перебирались снова и снова — пальцы задержались на одной из строк, пробежали по цифрам, нахмурились сильнее.

Ивн заёрзал на табуретке. В груди заворочался противный червяк: вдруг она разочарована? Ждала нормального, человеческого, а не этого? Сейчас поднимет глаза, посмотрит с той усталой обречённостью, от которой хочется провалиться сквозь землю, и скажет: «И ради этого ты носился целый день?».

Рот уже открылся, чтобы добавить что-то оправдательное, жалкое, — но Нэнси вдруг отложила бумаги и посмотрела на часы.

— Полпервого, — сказала она в пустоту. А потом перевела взгляд на мужа. В нём не было разочарования, не было обречённости. Только усталость и сосредоточенность.

— Завтра едем. — Коротко. Без сомнений. Как приговор и надежда одновременно. — Старших в сад.

Ивн замер не веря.

Глава 3

Спали ли они — вопрос. Вряд ли это слово подходило к тому состоянию, в котором они провели ночь. При хронической усталости организм обычно выключается мгновенно, едва голова касается подушки, — но сегодня случилось иначе. Тела проваливались в дрему, а мозг продолжал прокручивать одно и то же: покосившийся фасад, заросший бурьяном участок, просевшую крышу. Дремали чутко, поверхностно, то и дело просыпаясь от собственных мыслей. Каждый о своём. Но об одном.

Нэнси вскочила рано. Едва за окном начало сереть, она уже была на ногах — бесшумно, по-кошачьи, чтобы не разбудить детей. Ивн приоткрыл один глаз, наблюдая, как жена мечется по квартире, собирая сумки: подгузники, бутылочки, сменная одежда, влажные салфетки, вода, бублики, игрушки на случай, если в дороге начнут капризничать.

— Сколько дорога? — спросила хрипло, не оборачиваясь, продолжая утрамбовывать сумку.

— Часа четыре, может, пять, — ответил Ивн. — Не успеем даже к вечерней прогулке в садик.

Он сидел на диване, тёр лицо ладонями, прогоняя остатки сна.

— Нэнс, — позвал осторожно, подбирая слова. — Может, ты останешься? Куда нам с четырьмя детьми. А я съезжу один. Посмотрю, сделаю фото, видео, каждую щель сниму. Тебе не обязательно тащиться туда с ними.

Она замерла. Медленно выпрямилась, держа в руках свёрнутый детский плед, и повернулась к нему.

Взгляд был такой, что он сразу пожалел о своём предложении.

— Нет. — Коротко. Как щелчок затвора.

Никаких объяснений. Ни споров. Просто отрезала — и всё. И стала собирать вторую сумку. Для старших.

Ивн смотрел, как Нэнси укладывает сменные штаны — на случай, если кто-то промочит ноги. Пакет с бутербродами, которые успела сделать, пока он спал. Воду в бутылках, чтобы хватило всем. Небольшую аптечку — в дороге может случиться всё что угодно. И отдельно — любимые игрушки, те, что гарантированно успокоят, если начнётся истерика.

— Я хочу видеть свой дом сама, — добавила спустя минуту не оборачиваясь. — Фотографии — это одно. А там — стены, запах, свет. Я должна понять, можно ли там жить. Можно ли туда завозить детей.

Застегнула молнию, выпрямилась и посмотрела на него уже мягче. Но в глазах всё ещё горела та самая решимость, которую он видел вчера, когда она сказала «завтра едем».

— Вместе.

Ивн не стал спорить. Просто кивнул, поднялся и пошёл будить старших.

Четыре часа дороги. Если существует ад на колёсах — то он в их минивэне, давно просившемся на свалку, но продолжавшем тащить эту лямку, как и они сами.

Ивн крутил руль, вглядываясь в бесконечную ленту трассы, и думал о несправедливости мира. Они едут так далеко, с четырьмя детьми, чтобы посмотреть на развалюху, которую нормальные люди даже не назвали бы домом. Где бабушки? Где друзья, готовые посидеть с детьми хотя бы день? Где та самая поддержка, о которой твердят в красивых фильмах?

Никого. Только они вдвоём против всего мира.

О тишине забыли сразу. Дети заходились по цепной реакции — стоило заплакать одному, и через минуту орали уже все. От капризного хныканья до истеричного визга, от усталого нытья до того противного плача, когда уже не поймёшь: то ли больно, то ли просто хочется

внимания. Доходило до соплей, рвоты и того состояния, когда хочется остановиться посреди трассы, выйти и просто сесть на обочину.

Но Нэнси была непоколебима.

Сидела на заднем сиденье, зажатая между двумя креслами с младенцами, — и даже бровью не вела. Когда очередная волна крика накрывала салон, она не срывалась и не металась. Только смотрела на часы, потом в окно, потом на детей — и повторяла спокойно, почти хладнокровно:

— Устанут. Скоро.

Ивн поймал её взгляд в зеркале заднего вида и поразился. Нэнси не жалела о решении. Ни разу. Даже когда Кэнди зашлась так, что пришлось останавливаться на заправке и умыть её холодной водой.

Где-то на третьем часу случилось предсказанное. Дети выдохлись — не просто притихли, а вымотались до состояния, когда нет сил даже на капризы. Глаза слипались, головки клонились — и через несколько минут салон наполнился тем редким, драгоценным звуком: сопением спящих детей.

Нэнси откинулась на сиденье, прикрыла глаза, но бутылочку из рук так и не выпустила — на всякий случай.

— Смотри, — сказала она тихо, кивнув в окно.

Ивн перевёл взгляд с дороги на пейзаж и вдруг понял, что они уже давно едут по другому миру.

За окном простирался настоящий край света. Бесконечные равнины уходили к самому горизонту, где небо встречалось с землёй в ровной, чёткой линии. Леса сменялись полями, поля — перелесками, и так без конца, без края, без видимых границ. Небольшие деревни попадались редко — пять-шесть домов, покосившихся от времени, но они не казались убогими. В них была своя простота, своя правда.

Воздух здесь был другим. Даже сквозь закрытые окна чувствовалось: он чище, свежее, в нём пахло не бензином и городской пылью, а травой, землёй, чем-то давно забытым. Ивн приоткрыл окно, впуская этот воздух, и вдруг поймал себя на том, что дышит глубже, чем в городе.

Простор. Настоящий, бескрайний простор.

Чем дальше они уезжали от города, тем больше становились участки, тем реже встречались люди. Иногда километрами не попадалось ни одной машины, ни одного пешехода. Только поля, только лес, только небо.

И в этом было что-то невероятно ценное. Особенно для тех, кто привык ютиться в двушке, где каждый квадратный метр на счету, где стены давят, где соседи слышат каждый чих.

— Представляешь? — прошептала Нэнси, глядя в окно. — Выйти утром на крыльцо — и никого. Только трава, только небо. И дети могут бежать куда хотят, не боясь, что попадут под машину или потеряются в толпе.

Мужчина представил. И картинка вдруг сложилась — яркая, тёплая, почти осязаемая. Дети бегают по траве, смеются, падают в мягкую зелень. Нэнси сидит на том самом крыльце с чашкой чая. А он строгаёт доски для нового забора.

— Далеко ещё? — спросила она.

Ивн глянул в навигатор.

— Километров сорок.

Спустя несколько минут показалась вывеска посёлка — Мшары.

Обычный дорожный указатель — ржавый по краям, с облупившейся краской, стоящий на обочине так, будто его забыли здесь лет пятьдесят назад. Белые буквы на синем фоне, простые и непримечательные. Но Нэнси взгляделась в них так, будто от этого названия зависело всё.

— Мшары, — перечитала вслух, пробуя слово на вкус. — Мша-ры.

Ивн пожал плечами, не отрывая взгляда от дороги:

— Понятия не имею. Местное что-то.

Она уже тянулась к телефону, покачиваясь на ухабах. Пальцы застучали по экрану, глаза забегали по строкам.

— «Мшары, — начала читать, — происходит от древнеславянского „мшар“ — моховое болото, топь. Мшарами также называли низинные, заболоченные участки, поросшие мхом и ивняком...»

Нэнси подняла глаза от экрана и посмотрела в окно.

Пейзаж за стеклом подтверждал каждое слово безоговорочно.

Дорога петляла между бесконечными низинами. Слева и справа, насколько хватало глаз, простиралась болотистая равнина — серая, рыжая, бурая, всех оттенков увядания. Кочек было так много, что земля казалась покрытой гигантской сыпью. Между ними поблёскивала вода — чёрная, неподвижная, зеркальная. Не вода даже — жижа, в которой отражалось низкое тяжёлое небо.

Здесь не росло ничего, кроме мха и чахлой осоки. И, конечно, ив.

Они стояли повсюду — группами и поодиночке, склонённые к воде, будто вечно пьющие из этого болота. Тонкие ветви свисали почти до земли — серые, голые, в редких жёлтых листьях, которые, казалось, держались из последних сил. Красиво. Но той особенной, щемящей красотой, от которой становится не по себе. Будто попал в декорации к сказке, где всё закончится плохо.

Дорога была пуста. Абсолютно. Ни встречных, ни попутных. Ни души на обочинах. Ни собак. Ни даже птиц в небе.

— Сорок минут, — тихо сказала Нэнси, глядя на часы. — Сорок минут мы едем, и не одного человека.

Ивн кивнул. Хотел сказать что-то обнадеживающее, но слова застряли. Пустота начинала давить. Даже в самой забытой деревне обычно есть хоть кто-то: старуха на лавочке, мужик у забора, дети с палками. Здесь не было никого. Только ивы, болота и бесконечная серая лента дороги.

Нэнси молчала, вцепившись в подголовник переднего сиденья. В зеркале заднего вида он видел её лицо — напряжённое, сведённое внутренней борьбой. Она не показывала страха, но он чувствовал его.

— Может, не туда заехали? — спросила тихо Нэнси.

— По навигатору правильно, — ответил Ивн, хотя сам уже начинал сомневаться.

И в этот момент дорога пошла вверх.

Незаметно сначала, но с каждым метром подъём становился ощутимее. Колёса зашуршали по гравию, машина выбралась из низины — и вдруг, будто занавес подняли.

Возвышение.

Оно появилось из ниоткуда — пологий холм, на котором, словно в награду за бесконечный путь, стояли дома. Небогатые, не новые, но настоящие. Бревенчатые стены, шиферные крыши, покосившиеся заборы. Живые.

Из нескольких труб шёл дым.

Тонкие серые струйки поднимались к небу, таяли в низких облаках. Дым. Кто-то топил печь. Кто-то был там, внутри. Жизнь.

— Смотри, — выдохнула Нэнси, и в голосе впервые за последний час появилось что-то тёплое. — Там люди.

Ивн сбросил скорость, вглядываясь в дома. Они не были богатыми — нет. Но они стояли. Держались. Жили.

— Мшары, — сказал мужчина, пробуя название на вкус. — Моховое болото. А здесь... жизнь.

Нэнси молчала, но в зеркале заднего вида он видел, как разгладилась складка между её бровей. Страх отступил, уступая место чему-то другому, ещё робкому, но уже живому.

Машина медленно вкатилась в посёлок. За забором залаяла собака. Старуха в платке обернулась на шум мотора, проводила их взглядом, покачала головой и пошла дальше по своим делам.

Мелькнула школа — не новая, но ухоженная, с палисадником и свежавыкрашенным крыльцом. Дальше — сельский магазин, из дверей которого вышла женщина с сумками, а у крыльца топтались трое пацанов с мячом. Живые, настоящие дети. Значит, и их смогут. Точно смогут. Жизнь здесь была. Непростая, бедная, может быть, даже тяжёлая. Но была.

Дорога пошла под уклон, потом снова в горку — и вдруг посёлок кончился. Дома остались позади, а впереди, на самом краю, где земля обрывалась в низину, стоял он.

Их дом.

Одинокий, никому не нужный, он ждал их на краю мира, на отшибе, отделённый от остальных домов пустырём, заросшим той же высокой травой, что и на фотографиях. Даже тропинки к нему не вели — только колея, в которой уже застоялась вода.

Ивн заглушил мотор. Тишина накрыла салон, в ней едва было слышно, как ветер шелестит по сухой траве и как где-то далеко, над болотом, каркает ворона.

— Приехали, — сказал он тихо. И это слово прозвучало как начало.

Глава 4

Они сидели тихо, разглядывая дом через стёкла машины. Мотор давно заглох, и в салоне установилась та редкая, драгоценная тишина, которая бывает только когда все дети одновременно засыпают. Но сейчас даже она не занимала их мысли.

Просто смотрели. Мысленно обходили строение по кругу, заглядывали в окна, трогали стены, ещё не выходя наружу. Привыкали. Принимали. Сомневались.

И всё же, если присмотреться — а они присматривались, впитывая каждую деталь, — дом, несмотря на долгие годы без хозяина, сохранился неплохо. Даже удивительно, сколько в нём ещё чувствовалось основательности.

Брёвна, из которых сложены стены, были добротными, толстыми, когда-то тщательно отёсанными. Видно, строили на совесть — не на скорую руку, с расчётом на долгую жизнь. Фасад хоть и облупился местами, краска отошла лохмотьями, но дерево под ней не сгнило, не почернело, держало форму. Дом стоял ровно, не покосился, не ушёл в землю — значит, фундамент жив. Способность защищать чувствовалась в этих стенах даже на расстоянии.

Нэнси прищурилась, пытаясь разглядеть крышу. Мешал подголовник, ракурс, собственный рост — она наклоняла голову то влево, то вправо, подавалась вперёд, почти прижимаясь носом к стеклу. Шифер местами треснул, кое-где съехал, но в целом держался. Не обвалился, не провалился внутрь.

«Окна, — промелькнуло в голове. — Их, конечно, потрепало. Но заменить можно. За один день. Если постараться».

Ивн не отрывал взгляда от крыльца. Оно пострадало сильнее всего: ступени просели, две доски сгнили напрочь, навес над входом держался на честном слове — того и гляди рухнет. Веранда, пристроенная сбоку, выглядела уставшей.

И вдруг — он сам не заметил, как это случилось — перед глазами возникла другая картина.

Новая веранда, закрытая от осадков. Плотные рамы, целые стёкла. Внутри — стол, лавки, может, даже плетёное кресло. Летом здесь можно пить чай, смотреть на закат, слушать, как дети возятся в траве. Веранда превратится в террасу — любимое место, куда по утрам будут выходить с кружкой кофе.

Ивн моргнул, и видение исчезло. Остался только старый, облезлый дом с гнилым крыльцом. Но тепло от той картинке осталось где-то внутри.

Трава стояла стеной — выше пояса, а местами выше роста. Сухая, жёсткая, уверенная. Она росла так плотно, что казалось — не выкосить, не вытравить, не победить. Сквозь неё угадывались очертания старого забора, одичавшие кусты, и — странное дело — ни одной тропинки, ни одной протоптанной дорожки к дому. Словно сюда годами никто не ходил.

«Почему он так долго без хозяина? — думала Нэнси. — Дом вроде крепкий. Место... место как место. Почему его не купили раньше? Почему никто не позарился?»

Ивн смотрел на бурьян, на пустые окна, на крышу — и молчал. Мысли текли в том же русле. Такие дома просто так не стоят годами. Обычно есть причина: то ли с документами беда, то ли место нехорошее, то ли соседи такие, что житья не дадут. А может, просто далеко — слишком далеко от всего, и никому не нужен этот край света.

Размышления, мечты — всё это вдруг прервал гул мотора. Резкий, натужный, будто машину выжимали до предела, хотя ехала она не быстро. Старый пикап, отмеченный ржавчиной по всем швам, влетел на мокрый пяточок рядом с их минивэном, не разбирая ни луж, ни ям, ни здравого смысла. Колёса взметнули грязь, коробка передач издала такой истошный звук, будто её вот-вот вырвет наружу, и машина замерла, дёрнувшись напоследок.

Из кабины вывалился наездник. Именно вывалился — не вышел, не вылез, словно пикап выплюнул его с отвращением. В движениях не было ни аккуратности, ни бережности — ни к себе, ни к технике. Дверца хлопнула так, что жалобно звякнула, но парень даже не обернулся. Казалось, он только и ждал, когда эта развалюха, наконец, сломается окончательно, чтобы получить законный повод никуда и никогда не выезжать.

Молодой. Лет двадцать пять, от силы. Камуфляжная куртка, мягкие штаны, резиновые сапоги, заляпанные грязью по самое голенище. Лицо — не то злое, не то просто недовольное всем на свете: брови насуплены, губы поджаты, взгляд колющий.

С ходу направился к их машине, даже не оглянувшись на дом, будто знал здесь каждый угол. Заглянул в салон через стекло — резко, бесцеремонно. Увидел спящих детей, Нэнси, и театрально вскинул брови — почти до линии волос. Добавил жест: развёл руки в стороны, ладонями вверх, мол, «ну что, поспешим-посмотрим?». В этом жесте читалось всё: нетерпение, лёгкое презрение, привычка работать с теми, кто ничего не понимает.

Нэнси кивнула. Коротко, но твёрдо. Повернулась к мужу.

Ивн понял без слов. Первым пойдёт он пока дети спят, пока есть возможность спокойно осмотреться, задать вопросы, понять, что это за тип и чего от него ждать. Нэнси останется в машине — охранять сон, охранять тыл.

Дверь приоткрылась бесшумно. Он вышел, прикрыл её осторожно, не до конца — чтобы щелчок замка не разбудил его ораву. Рука замерла на мгновение, Ивн прислушался: тихо. Только ветер шуршит по сухой траве да где-то далеко каркает ворона.

Парень уже стоял в двух шагах, засунув руки в карманы, и смотрел с ленивым любопытством.

— Ну, здравствуйте, — сказал без приветствия.

Ивн шагнул навстречу, протягивая руку. Парень глянул на неё, помедлил, но всё же пожал — вяло, будто делал одолжение.

— Мирон, — представился. — Я здесь по соседству, в селе с другой стороны болот. Меня попросили ключи передать и показать, если что. Хозяина у дома нет... — кивнул в сторону строения, — принадлежит то ли фонду, то ли фирме. Я приезжаю чисто показать.

— Ну что, пойдём? — Парень уже развернулся и, не дожидаясь ответа, зашагал к заросшему участку, прямо по бурьяну, даже не глядя под ноги.

Ивн выдохнул, поправил куртку и двинулся следом.

Растерянность накатывала липкой волной — вопросы надо было готовить заранее, продумывать, выписывать, может, даже выучить. А теперь стоял перед этим юнцом, смотрел на его насупленное лицо и понимал: какой смысл? Что может рассказать парень, которому, кажется, всё вокруг до лампочки?

— Часто здесь бываешь? — спросил первое, что пришло в голову. — Показываешь дом?

— Нечасто, — Мирон пожал плечами, даже не обернувшись. — Пару раз за год. Каждый своё ищет: кому участок побольше, кому место помоднее. А на элитный посёлок это, сами видите, не тянет. — Кивок в сторону болотистой низины, откуда они приехали. — Да и к городу хочется ближе. Чёрт их разберёт. Каждому своё.

Парень легко перепрыгнул через гнилые половицы крыльца — даже не взглянув под ноги, будто проделывал это сотни раз, — и обернулся.

Ивн замер.

Стоял перед домом, задрав голову, и рассматривал его уже не как покупатель, а как человек, который вдруг увидел нечто большее. Простор. Настоящий, бескрайний простор. Небо здесь было выше, чем в городе, выше даже, чем по дороге сюда. Оно не давило — оно раскрывалось, раздвигало горизонты, впускало в себя. И на его фоне дом — старый, облезлый, уставший — казался не развалюхой, а крепостью. Настоящей. Надёжной.

В груди кольнуло острой болью: их двушка — просто клетка. Коробка с окнами, где каждый метр на счету, где некуда деться от запахов, шума, друг от друга. А здесь... здесь можно дышать.

— Двадцать лет, — голос Мирона вырвал из мыслей. Парень стоял, прислонившись к косяку, и смотрел с ленивым любопытством. — Дом без хозяина около двадцати лет. Так что фасад, сами видите, в порядок приводить надо. И кровлю. И окна.

Перечислил буднично, как список покупок.

— Но вообще, — добавил вдруг, — дом здоровый. Не придраться. Заботы не хватает, а так — брёвна крепкие, фундамент живой. Земля здесь добротная. Посёлок на возвышении, поэтому болота — они сами по себе, внизу. А здесь — сухо.

Ивн молчал, впитывая каждое слово. Смотрел на бревенчатые стены, на то, как плотно прилегают венцы, как ровно лежат друг на друге. Тёмные от времени, кое-где мох вылез — но это не гниль. Это возраст. Это история.

— С землёй работать надо, — продолжал МIRON, доставая из кармана ключ. — А нынешний люд, — хмыкнул, — от этого далёк. Удивляться, почему дом пустует, не стоит. Кому сдалась эта деревенская жизнь?

Ключ повертелся в пальцах, взгляд скользнул по замку.

— Я, кстати, заборами занимаюсь, — добавил с неожиданной деловитостью. — И участок приведу в божеский вид, если надо. Недорого.

Ивн кивнул не вслушиваясь. Всё ещё рассматривал дом — крыльцо, которое надо чинить, окна, которые менять, крышу, которую латать. И чем дольше смотрел, тем яснее понимал: это не пугает. Это хочется делать.

МIRON вставил ключ в замочную скважину и начал ковыряться с небрежной жестокостью. Ключ скрежетал, замок не поддавался. Парень дёргал, крутил, матерился сквозь зубы. И казалось — странное, почти мистическое чувство, — что дом выбирает, с кем иметь дело. Кого впустить, а кого держать снаружи.

Замок не открывался.

— Чёрт, да чтоб тебя! — МIRON дёрнул с силой, так что ключ чуть не сломался. — Да что ж ты...

Ивн перепрыгнул через крыльцо легко, как тот парень минуту назад, и оказался рядом. МIRON нервно сунул ему ключ в руку:

— На, попробуй сам, короче.

Отошёл в сторону, засунул руки в карманы, всем видом показывая раздражение. Мол, мне всё равно, я своё дело сделал, а этот замок — сам дурак.

Ивн взял ключ. Тёплый от чужих пальцев, чуть влажный. Посмотрел на скважину, на дверь, на дом. И медленно, бережно — как вставляют ключ в замок собственной квартиры — повернул.

Щелчок прозвучал мягко, согласно. Дверь приоткрылась, дохнув изнутри сыростью и многолетним запустением.

МIRON позади хмыкнул, но промолчал.

Ивн шагнул внутрь. Прихожая встретила его — не клетушка, не тесный закуток, каких много в городских квартирах, а настоящая, с крючками для одежды, полочкой для обуви, с тем особым полумраком, что бывает только в деревенских домах, где к вещам относятся бережно. Всё по уму: раздеться, разуться, оставить грязь за порогом. В голове уже выстраивался план: ящик для обуви, вешалка пониже, для детей, чтобы отсекал уличную грязь, прежде чем ступить в ту роскошь, которой у них никогда не было.

Привычка беречь чужое заставила его на мгновение замешкаться — он чуть не разулся. Но одёрнул себя: здесь пока не своё. Здесь только предстоит решить.

Следующая дверь отворилась — и он замер.

Гостиная. Настоящая, о которой они с Нэнси могли лишь мечтать, вжимаясь в стены съёмной двушки. Два больших окна — пусть забитых фанерой, с разбитыми стёклами, но они были, и через них лился свет. А в центре, у дальней стены, — камин. Сложенный из красного кирпича, с широкой полкой, с топкой, где когда-то весело трещали дрова.

Шаги отозвались глухим эхом — полы обшарпанные, в щелях застряли сухие листья и мелкий сор, занесённый ветром через дыры в окнах. Пахло сыростью, старой пылью и чем-то ещё — то ли мышами, то ли просто временем, которое здесь остановилось.

Но Ивн видел иное.

Будущее. Полы — отшлифованные, покрытые лаком, светлые и тёплые. Стены — без этих обоев, сдавшихся ветрам и сползших лохмотьями, — отделанные панелями под древесину. Светло, просторно, уютно. Камин, в котором снова заплещет огонь.

Мужчина подошёл к окну. Встал так, чтобы видеть минивэн на взгорке — игрушечный на фоне этого простора. Участок заросший, дикий, но это будет их земля. Здесь его дети будут расти, носиться по траве, падать в сугробы, строить шалаши, прятаться в малиннике, который Нэнси разглядела на фотографии.

Мысль о ней обожгла изнутри. Захочет ли? Увидит ли то же, что и он? Или испугается этой глуши, разрухи, одиночества?

— На камин в своё время не жалели ни материала, ни сил, — донеслось откуда-то сбоку.

Мирон топтался рядом, бормотал под нос, но Ивн слышал его как сквозь вату.

— Кирпич отличный, лаком покрыт для сохранности, не в один слой. Вот руки были у людей... — Он похлопал ладонью по кладке, и звук вышел глухим, солидным. — А сейчас в деревнях никого не осталось. Все в города рвутся. — Парень вздохнул. — Я и сам хочу. Проще там. А с хозяйством — заматаешься, сил никаких нет.

Ивн не ответил. Он оглядывал гостиную — и взгляд уже не цеплялся за разруху.

Он стоял у окна, сжимая в кармане ключ, который, наконец, поддался ему, и чувствовал, как внутри разрастается что-то большое, тёплое, давно забытое. Не надежда — уверенность.

Во дворе слышались крики и капризы детей — тот самый привычный шум, от которого в городе хотелось бежать, а здесь вдруг зазвучал иначе. Нэнси уже достала коляску, усадила младших, сунула старшим баранки — вечное спасительное средство, когда нужно занять рты и руки. Но здесь, на фоне этого простора, детские голоса не раздражали. Они звучали как богатство, как та живая сила, что вдохнёт жизнь в старый дом. С ними место оживало, наполнялось смыслом.

Ивн поспешил к выходу — встретить их.

Помог поднять коляску по ступеням крыльца, придержал дверь. Нэнси шагнула внутрь, но сразу за порогом бросила коляску, даже не оглянувшись, и прошла в гостиную. Застыла в центре комнаты, медленно обвела взглядом стены, потолок, окна — и замерла. Открыла рот, хотела что-то сказать, но слова застряли. Только глаза — огромные, влажные — бегали по комнате, впитывая каждую деталь: два окна, камин, высокий потолок. Пространство, которого не могло быть в их двушке, но которое вдруг стало реальностью.

Ивн понимал. Молча стоял у двери, не мешая ей знакомиться с их будущим.

А потом женщина закружилась. Медленно, плавно, как в забытом танце. Подошла к камину, погладила кирпичи, заглянула в топку. Переместилась к окнам — выглянула в одно, потом в другое, будто не могла насмотреться. И с каждым движением усталость отступала, морщинки разглаживались, глаза наполнялись светом. Она становилась той Нэнси, которую он помнил много лет назад — до детей, до съёмных квартир, до бесконечной беготни. Молодой, счастливой, живой.

Даже дети притихли. Старшие перестали жевать баранки, наблюдая за матерью, которая вдруг превратилась в нового, незнакомого человека. Младшие в коляске затихли, будто чувствуя: происходит что-то важное.

— А кухня? — спросила наконец Нэнси. Голос её звучал звонко, почти по-девичьи. Мирон, топтавшийся в углу, оживился:

— Есть кухня. Пройдёмте.

Кухня оказалась небольшой. Когда-то здесь, наверное, было уютно, но годы без хозяина сделали своё дело. Потолок когда-то протёк, вода работала долго и методично — доски пола прогнили в нескольких местах, некоторые проваливались под ногой, другие темнели влажными пятнами. Пол явно требовал полной замены.

Уютной эту комнату назвать было нельзя. Полки на стенах покосились, одна висела на одном гвозде, готовая рухнуть. На них — битая посуда: старые чашки со сколами, тарелка, разбитая пополам, глиняный горшок с трещиной. В углу притулилась старая керамическая раковина — тяжёлая, вся в коричневых разводах ржавчины, сколотая по краям. Капли воды оставили на ней несмываемые следы, и теперь она выглядела так, будто её достали со дна болота.

Всему этому безобразию было простое объяснение — разбитое окно. Большое, в две створки, с выбитым наполовину стеклом. Оно выходило на задний двор — и открывало вид, от которого у Нэнси перехватило дыхание.

Бесконечный задний двор уходил вдаль, теряясь в зелени, переходя в поле, а там — в лес. И прямо перед окном, в нескольких метрах, стояли плодовые деревья. Старые, запущенные, заросшие сорняками по самый ствол, но живые. Яблони и пара слив простирали корявые ветви к небу, словно моля: освободите нас, дайте дышать, и мы отблагодарим вас урожаем.

Нэнси замерла. Смотрела на эти деревья, на бескрайний простор за ними, на сорняки, которые можно выколоть, на землю, которую можно вскопать, засадить, вырастить. И в этот миг поняла: она хочет заниматься садом, огородом, землёй. Не потому, что надо выживать — а потому что это её. То, чего никогда не было в городе, в клетке-двушке, где единственной зеленью были цветы на подоконнике.

— Сделаем, — раздалось сзади робко.

Ивн стоял в дверях кухни, смотрел на неё — и явно думал, что она расстроена. Что этот разгром, гнилые доски, битая посуда — слишком даже для них. Что сейчас она повернётся и скажет: «Нет. Это невозможно».

Нэнси повернулась.

Посмотрела на него — и вдруг поняла, что Ивн не видит. Не видит того, что видит она. Думает, что ей нужны слова поддержки, обещания, что он всё починит. А она уже давно всё решила.

— Это мой дом, — сказала просто. И улыбнулась — впервые за долгое время так открыто, так светло. — Когда можно будет переехать?

Решение принимается просто, когда нет сомнений. Быстро — когда нет других вариантов. Они перебрали всё, устали, вымотались, дошли до границы. И теперь, стоя на этом рубеже, глядя на разбитую кухню и дикий сад за окном, Нэнси знала точно: это их место. Здесь будут жить. Здесь будут расти дети.

Мирон, наблюдавший сцену со стороны, только крякнул и почесал затылок:

— Ну, дела... — пробормотал себе под нос. — Я думал, неделю думать будете, перезванивать, торговаться...

Нэнси даже не взглянула на него. Смотрела на Ивна и ждала ответа.

— Как только документы оформим, — сказал он, и голос вдруг окреп. — Месяц, может, полтора, если быстро бегать.

— Значит, будем быстро бегать, — кивнула женщина и снова повернулась к окну, к деревьям, к саду, который ждал её рук.

Ивн подошёл, встал рядом. Молча. Просто чтобы быть. Чтобы вместе смотреть на этот бесконечный двор, на запущенный сад, на будущее, которое вдруг перестало быть страшным.

По комнатам прошлись — и везде одно и то же: ремонт, ремонт и ремонт. Где-то обвалилась штукатурка, где-то пол прогнил сильнее, чем в кухне, в одной из комнат потолок отсутствовал вовсе — чернели балки, между ними виднелась крыша. Санузел — смешное слово для того, что они увидели. Отдельная кабинка с унитазом и ржавым душем, который, судя по виду, не работал. Но хоть один привести в порядок — а дальше дело наживное.

Второй этаж оказался даже лучше, чем ожидалось. Две просторные комнаты с окнами на разные стороны — идеально: для девочек отдельно, для мальчишек отдельно. Нэнси уже мысленно расставляла кровати, вешала полки, подбирала шторы. Пока — только в мыслях. Потому что сейчас здесь было не до штор.

Комнаты завалены хламом: разошедшиеся шкафы, продавленные кровати без матрасов, сломанные стулья, ящики с тряпьем, ржавый инструмент. Всё грудями, под толстым слоем пыли и мышиного помёта.

— Это от прежних хозяев, — подтвердил Мирон. — Никому не нужное. Если въедете — в первый же день выбрасывайте. Мы проверяли, ничего ценного нет.

Ивн кивнул. Уже прикидывал, сколько рейсов к мусорке предстоит, сколько всего вынести, перебрать, сжечь.

— А что за хозяева были? — спросила Нэнси рассеянно, разглядывая комод с оторванной дверцей.

— История мутная. Дом фирма отобрала за долги. Люди долго не платили, с фирмой не пытались договориться — ну и забрали. А продать не могут, который год. Дом большой, денег в ремонт вбухать надо — кому охота? — Мирон прищурился. — Вы, если поторгуетесь, уступку по цене выбить можно. Типа на ремонт. Согласятся — им хоть что-то получить, чем так стоять будет.

История дома их не заботила. Ни долги, ни бывшие хозяева, ни то, как фирма его отбирала. Всё это было чужим, далёким, не имеющим к ним отношения. Их интересовали стены, крыша, земля — то, что станет их жизнью. А кто здесь жил раньше и почему ушёл — какая разница?

Странно, но стоило мальчишкам выбраться на улицу, они вцепились в бурьян, как в игрушку. Сражались с ним, как с вражеской армией, ломали сухие стебли, носились по участку, оглашая окрестности воинственными криками. По дому их ноги грохотали знатно — вбегали и вылетали наружу так бодро, что Ивн ловил себя на мысли: выдержат ли доски?

Синди и Кэнди, близняшки, вели себя по-иному. Молча глазели по сторонам — широко раскрытыми глазами впитывая каждый угол, каждую щель, каждую пылинку. И Нэнси вдруг подумала: может, они капризничали в городе только оттого, что им надоели одни и те же стены? Четыре стены их съёмной двушки, которые они видели каждый день, каждый час, каждую минуту своей маленькой жизни. А здесь — новый мир. Огромный, загадочный, полный звуков и запахов. Здесь было на что смотреть.

Мирон уехал. Пикап взревел, выплюнул облако сизого дыма и укатил в сторону болот, растворившись в серой дымке.

Ивн и Нэнси упаковали детей в минивэн. Старших — на заднее сиденье, пристегнули, сунули в руки игрушки. Младших — в кресла, с бутылочками. Все сытые, уставшие, но довольные. И только тогда, когда машина снова стала привычным передвижным домом, они выдохнули.

Но уезжать не торопились.

Почти час они топтались перед домом. Нэнси показывала, где посадит цветы, где разобьёт грядки, где поставит парник. Ивн мерил взглядом фронт работ: забор, крыльцо, крыша, окна. Спорили, что в первую очередь, а что подождёт. Сбережения таяли в уме, но впервые это не пугало — они знали, куда их вложат.

В доме, в той самой гостиной, где они стояли совсем недавно, было пусто и тихо. Только ветер гулял по комнате, нагло пробираясь сквозь щели в окнах, дыры в стенах, неплотности, не держащие тепла. Он гонял по полу сухую серую листву — поднимал, кружил, бросал и снова подхватывал, будто играл с ней в бесконечную игру.

В камине, что ещё недавно вызывал у Ивна такое восхищение, ветер нашёл старый пепел. Ветер выдохнул серый, ровный слой, годами лежавший нетронутым, — и пепел покрыл пол как иней.

Сначала — лёгкое движение, будто вздох. Потом — отпечатки босых ног. Маленькие, изящные, женские. Они проступили на серой поверхности отчётливо, будто невидимая ступила в остывшее пепелище. След за следом, шаг за шагом, они двигались по кругу. Медленно, плавно — будто в забытом танце, что длился здесь годами, десятилетиями, возможно, ещё тогда, когда дом жил, когда в нём горел свет и звучали голоса. Отпечатки накладывались один на другой, стирали себя и появлялись вновь — бесконечный хоровод в пустой комнате, под вой ветра в разбитых окнах и шорох листвы, загнанной по углам.

Вдруг танец оборвался.

Шаги изменились резко, будто по команде, вырвались из круга. Лёгкий, едва уловимый звук босых ног устремился от камина к окну. К тому самому, откуда открывался вид на улицу, где стояли Ивн и Нэнси, где в машине спали дети, где теплилась новая жизнь, посмевавшая заявить права на это место.

Дверь в гостиную осталась незапертой. И она хлопнула. Резко, нервно, будто от сквозняка — но ветер затих, листва замерла, воздух стал тяжёлым, как перед грозой. Дверь хлопнула снова — сильнее, злее. И ещё раз. Будто кто-то бил ею о косяк, проверяя на прочность, впуская и выпуская того, кто не должен был покидать эту комнату.

Снова шаги — но уже не плавные, не танцующие. Тяжёлые, быстрые, яростные. Босые ступни зашлёпали по полу — от двери к окну, от окна к стене, от стены в угол. Мельтешение, бег, погоня за тем, кого не видно. Или от того, от кого нельзя убежать.

Потом — тишина. Резкая, звенящая, страшная.

Окно запотело. Стекло, холодное, покрытое пылью и птичьим помётом, вдруг начало мутнеть в углу. Сначала дымка, потом испарина, потом влага поползла вниз тяжёлыми каплями. Будто кто-то дышал на стекло — долго, ровно, не отрываясь. Будто кто-то прижался лицом к холодной поверхности и замер, наблюдая. Не в полный рост — стекло запотело у самого подоконника, там, куда надо опускаться на корточки.

Дыхание было тяжёлым. Хриплым. Злым.

На стекле проступили пальцы. Маленькие, с неестественно длинными ногтями — грязными, обломанными. Они прижались к запотевшей поверхности, оставляя чёткие отпечатки. Четыре пальца на одной руке, четыре на другой — они заскребли по стеклу. Сначала тихо, потом громче, настойчивее, злее. Ногти — длинные, острые — царапали стекло, пытаясь оставить белёсые рубцы. Скрежет, от которого сводит зубы, холодеет спина, хочется бежать без оглядки.

Пальцы дрожали мелкой, противной дрожью, будто судорога сводила мышцы, но они продолжали давить, царапать, не в силах остановиться. Стекло вибрировало, издавая тонкий подвывающий звук — тоскливый, безнадёжный. Ногти хрустели, обламывались под корень, с мясом, с той отвратительной влажной мягкостью, когда ноготь отделяется от живого. Обломки падали на подоконник — мелкие, жёлтые, с тёмными разводами засохшей крови, россыпью, как хитин мёртвых насекомых.

В этом скрежете, в этом хрусте, в этом вое складывались линии. Чёткие, глубокие, они ложились крест-накрест, въедаясь в стекло, оставляя рубцы навечно. Решётка. Тюремная решётка, отделяющая тех, кто снаружи, от того, кто внутри. Сквозь неё, сквозь мутное стекло

и белые полосы царапин, виднелись Ивн и Нэнси. Они смеялись, обнимались, показывали на участок, не подозревая, не чувствуя, не оборачиваясь.

Стекло запотело окончательно. Не испарина — плотная пелена, будто кто-то выдохнул весь холод, всю сырость, все годы одиночества прямо на эту поверхность. И в этом матовом тумане проступило лицо. Едва заметное. Неряшливое. Длинные спутанные волосы сосульками свисали вдоль щёк, прилипли ко лбу, ко рту — и улыбка, в которой не было ни радости, ни тепла, только чёрная бездна, уходящая внутрь, где не должно быть ничего живого.

Рот был страшным — не потому, что кривой или беззубый, а потому что привык страдать. Привык кричать, требовать, умолять годами, десятилетиями. Губы, потрескавшиеся в кровь, с засохшими корками, с болячками разной давности — свежие, сочащиеся, и старые, тёмные, ввевшиеся в кожу. Каждая трещина помнила свой крик, свою мольбу, свою боль. Кожа вокруг рта была стёрта, воспалена, покрыта странным налётом — то ли гнойным, то ли от вечной влаги, от слюны, что текла и не вытиралась.

Губы расходились в стороны, кожа натягивалась до прозрачности, лопалась мелкими трещинками, из которых сразу выступала влага. Болячки лопались по очереди — с тихим влажным чмоканием, выпуская мутную сукровицу с тёмными вкраплениями. Жижачилась, повисала на губах, тянулась тонкими нитями к подбородку, к стеклу, к полу.

Губы шевелились и шептали беззвучно — одними движениями, но от них рождались новые трещины, новые разрывы. Шёпот был мокрым, чавкающим, будто язык ворочался в киселе. Между губ вылетали брызги, оседали на стекле мутными точками, медленно сползали вниз, оставляя липкие дорожки.

Из носа тоже текло — густые зеленоватые сопли смешивались с сукровицей на губах, затекали в уголки рта, а губы продолжали шептать, захлёбываясь этой мутью, разбрызгивая её вокруг. Всё лицо блестело, покрытое липкой плёнкой, в которой пузырилась каждая новая ранка, каждый свежий порез от растянутой улыбки.

Машина тронулась. Минивэн качнулся, фары на секунду выхватили окно — тот самый угол — и уехали в темноту, увозя смех, голоса, тепло.

На стекле, где только что было лицо, осталась липкая плёнка. Она медленно стекала вниз, оставляя мутные дорожки. В них копошилось что-то мелкое — может, мухи, привлечённые запахом, может, те самые обломки ногтей, что валялись на подоконнике.

Темнота покрыла комнаты, скрыла улыбку, что всё ещё ширилась в темноте, скрыла глаза, больше не отражавшие света, скрыла всё. Осталась только решётка из глубоких царапин — белые полосы на чёрном стекле, будто кто-то пытался выбраться наружу, но не смог. И влажные разводы на подоконнике — тёмные пятна, похожие на слёзы. Похожие.

Даже сквозь закрытое окно, через щели, в темноте пробивался запах. Гниющего мяса, застарелой боли и чего-то сладковатого, приторного — как цветы на кладбище. Ветер уносил его, смешивал с дорожной пылью, но то, что осталось в доме, — осталось навсегда.

В ожидании. Терпеливо.

С улыбкой, которая не сходила с лица даже в полной темноте.

Глава 5

Следующие два месяца стали для них испытанием на прочность. Двушка, прежде просто тесная, теперь превратилась в клетку — каждый квадратный метр был пропитан ожиданием, каждый угол напоминал: они всё ещё здесь, всё ещё не там, где должны быть.

Бумажная волокита тянулась бесконечной чередой кабинетов, очередей, подписей и печатей. Ивн мотался по инстанциям, собирал справки, которые требовали новых справок, доказывал, что они существуют и имеют право. Нэнси оставалась с детьми и с каждым днём чувствовала, как стены сдвигаются, воздух становится гуще, а редкая тишина превращается в злую насмешку.

Капитал, бережно хранимый на каждого ребёнка, — та самая подушка «а вдруг», что всегда маячила за плечом, — таял на глазах. Сначала кровля. Потом окна — все сразу, потому что менять по одному было бессмысленно. Затем фасад — дом должен был дышать, но не пропускать ветер. Каждый платёж отзывался в груди глухой болью: деньги уходили, превращались в доски, стекло, шифер.

Последние сбережения ушли на веранду, забор и кухню её мечты. Нэнси не просила — Ивн знал сам. Кухня должна была стать тем местом, где она, наконец, выдохнет, где будет не только готовить, но и жить, глядя в окно на сад, на деревья, на землю, которая ждала её рук.

Он взял отпуск. Впервые за несколько лет — непозволительная роскошь, как он сам считал, но сейчас это было важнее денег. Ивн выезжал из города глубокой ночью, когда за окнами минивэна проплывали только чёрные поля и редкие огни придорожных кафе. К утру он был в Мшарах, встречал рабочих, раздавал указания, проверял, спорил, договаривался. К закату провожал их и спешил обратно.

Крыльцо он взял на себя. Не ради экономии — хотел сделать своими руками. Хотел, чтобы Нэнси и дети, выходя из дома, видели эту работу, знали: здесь отец строгал, прибивал, подгонял доску к доске. Рабочие подсказывали, советовали, иногда просто стояли и курили, пока он возился с уровнем и рубанком. В эти минуты Ивн чувствовал себя хозяином. Не съёмщиком, не временным жильцом, не тем, кто вечно оглядывается на хозяйку. Хозяином.

Мужчина работал до ломоты в спине, до мозолей и состояния, когда руки не слушаются, а в глазах двоится. Но каждую минуту он представлял день переезда: как Нэнси войдёт в дом, ахнет, как побегут дети, как заполнится этот простор их голосами.

Нэнси ждала в двушке. Собирала вещи, упаковывала, перебирала, выбрасывала, снова упаковывала. Каждые пять минут она ловила себя на шёпоте: «Скоро. Совсем скоро». Это стало мантрой, за которой она пряталась, когда старшие дрались, младшие орали хором, а стены подступали к горлу.

Каждый вечер она ждала его. Когда Ивн возвращался — уставший, пропахший краской и деревом, — она набрасывалась с вопросами: как кровля, как окна, как веранда, поставили ли забор? Требовала фотографий, подробностей, деталей.

Ивн смеялся — устало, хрипло. — Увидишь финальный результат, когда переедешь. — Подмигивал, грязный, пропахший потом. — Или не веришь, что я сам могу? Хуже-то уже не будет.

Нэнси верила. Но ждать было невыносимо. И каждый вечер, когда он засыпал мёртвым сном, едва коснувшись подушки, она лежала рядом, смотрела в потолок и считала дни. Часы. Минуты до того мгновения, когда их клетка останется позади.

И вот, без лишних денег, в привычном состоянии вечной экономии, под холодное дыхание зимы, что подгоняло в спину первыми заморозками, они переехали.

Минивэн, забитый под завязку коробками, сумками, пакетами и детьми, подкатил к знакомому участку. Нэнси выскочила первой, едва колёса остановились. Замерла, прижав руки к груди, и медленно подняла глаза.

Дом стоял перед ней — обновлённый, принаряженный, почти неузнаваемый.

Фасад, что ещё два месяца назад выглядел унылым и облезлым, теперь сиял свежей краской. Ивн выбрал оливковый цвет — спокойный, тёплый, природный. Но в лучах полуденного осеннего солнца он творил магию: отливал золотом, переливался желтизной, будто впитал в себя всё жадное тепло уходящего лета. Нэнси уже знала — вечером, когда солнце уйдёт за горизонт, дом станет иным: нежным, благородным, приглушённо-зелёным, как старая, выдавшая виды медь. Закаты и рассветы будут украшать его по-своему каждый день. Ему всё к лицу.

Окна — новые, большие, чистые — смотрели на мир прозрачными глазами. Никакой фанеры, никаких тряпок, никакого запустения. Стёкла сверкали, отражали небо, деревья, их самих. В них хотелось смотреться, ими любоваться. Нэнси уже видела, как в этих окнах появятся лёгкие светлые занавески — чтобы не загораживать свет. Внутри она знала, ещё предстоит наводить порядок, но первый взгляд был богатым, настоящим, дышащим жизнью.

Крыша. Ивн скромничал, когда рассказывал о кровле. Сказать «подлатали» — значило оскорбить сделанное. Крышу восстановили полностью, капитально, с душой: заменили повреждённый шифер, покрыли специальным составом от протечек, сверху нанесли финишный декоративный слой. Теперь она гордо держала форму, не прогибалась, не проседала, а ровной уверенной линией покрывала дом от непогоды.

Нэнси обернулась к Ивну. Он стоял чуть поодаль, опершись на капот минивэна, и смотрел не на дом — на неё. С той особенной улыбкой, которую она так любила и так редко видела в последние годы. В ней было всё: усталость, гордость, любовь и это дурацкое мужское «ну как? я же говорил».

Она снова повернулась к дому.

Веранда — та самая, что Ивн делал своими руками. Новые перила, свежие доски, аккуратные ступени. Он не просто починил крыльцо — он сделал его красивым. Добротным. Таким, на которое не стыдно поставить цветы в горшках, где можно сидеть вечерами, укрывшись пледом, и смотреть на закат.

Забор стоял ровно, свежеевыкрашенный, обозначая границу их территории. Их земли.

Нэнси сделала шаг, ещё один. Подошла к дому, протянула руку, коснулась стены. Оливковое дерево было тёплым под пальцами, живым. Оно дышало, принимало её прикосновение. И в этот миг женщина остро, до слёз, поняла: это её дом. Не съёмный, не временный, не чужой. Её.

Обернулась к мужу. В глазах стояли слёзы, но она улыбалась.

— Ивн, — голос дрогнул. — Это... это невероятно.

Он подошёл, обнял за плечи, притянул к себе. От него пахло краской, деревом, усталостью — тем самым запахом, который она полюбила за эти месяцы, потому что это был запах их дома.

Дети рвались наружу из машины, как из консервной банки, которую, наконец, открыли после долгой голодовки. Им не терпелось бежать, размяться, вдохнуть новый воздух, пахнувший свободой.

Ивн открыл дверь минивэна, и детский гам вырвался наружу. Ловко разложил коляску одной рукой, усадил близняшек, выпустил старших. Мальчишки рванули с места, будто весь участок стал огромной игровой площадкой, а они ждали этого момента всю жизнь. Их вопли разнеслись над домом, над участком, над округой — радостные, дикие, счастливые. Они бегали по скошенному бурьяну, падали, вскакивали и неслись дальше, будто хотели обнять каждый куст и травинку.

Ивн подкатил коляску к крыльцу, поставил на тормоз и осторожно, почти робко, посмотрел на Нэнси.

— Там... — Ивн замялся, переступил с ноги на ногу. — Кухня. Я не всё успел, конечно, рабочие ещё на этой неделе доделывали, кое-где мелочи остались. Но... в общем, ты хотела посмотреть сразу, а я говорил — нет. Вот.

Нэнси смотрела на него и не верила. Не верила, что он держал интригу все эти месяцы, не верила, что сейчас войдёт и увидит, не верила, что это всё — правда.

— Иди, — кивнул он на дверь. — Я здесь за детьми присмотрю.

Она шагнула к крыльцу, обернулась, встретила с ним взглядом — и вдруг почувствовала, как по щекам побежали слёзы. Тёплые, солёные, непрошенные.

— Ты чего? — испугался Ивн. — Нэнс, ты чего? Я что-то не так...

— Ванилин, вот ты кто, — всхлипнула она, вытирая лицо ладонями, но слёзы текли и текли. — Всё так. Просто... я не ожидала. Не думала, что... — Она махнула рукой, не в силах объяснить.

Ивн подошёл, обнял, прижал к себе — пахнувший краской и деревом, — и прошептал в макушку:

— погоди плакать. Ведь ещё не видела. Вдруг разочаруешься?

Она отстранилась, шмыгнула носом, вытерла слёзы уже решительно:

— Не разочаруюсь.

— Я, правда, старался, — сказал он просто. — Честно. Чтобы как ты хотела. Ну, иди уже. А то дети всё поле истопчут и домой запросятся. Дарю тебе тишину, чтобы освоиться.

Она кивнула, глубоко вздохнула и шагнула на крыльцо — новое, крепкое, сделанное его руками. Остановилась перед дверью, положила ладонь на ручку. Своя дверь. Свой дом.

И открыла.

Прихожая встретила свежей краской — пахло совсем чуть-чуть, но уже терпимо, домашнему. Стены стали светлыми, чистыми, и на этом фоне особенно заметно выделялись новенькие крючки — рядом, ровно, на разной высоте: для взрослых повыше, для детей пониже. Она провела пальцем по одному — гладкий, деревянный, без заноз. Молодец какой. Раздеться здесь точно есть где. И обувь поставить — вон и полочка появилась, аккуратная, дощатая.

Нэнси открыла следующую дверь, в гостиную, и поняла: разуваться ещё рано. К сухим листьям, загнанным ветром в щели за годы запустения, добавилась строительная пыль — тонкая, серая, липкая. И мусор: мелкие щепки, обрезки утеплителя, окаменевшие комки засохшей штукатурки, рассыпанные там, где рабочие меняли окна. Но даже со старыми обоями — местами отставшими, в пятнах — комната выглядела иначе. Светлее. Чище. Живее.

Нэнси вышла в центр комнаты, остановилась, огляделась. Просторно — так просторно, что дух захватывало после их двушки. Стены раздвинулись, потолок ушёл вверх, и дышалось здесь совсем иначе: полной грудью, свободно.

Взгляд упал на камин. И она улыbnулась.

В топке аккуратной горкой лежали дрова — берёзовые, по светлой коре сразу видно. Ещё несколько поленьев стояли тут же, сбоку, приготовленные для первой растопки. Готовился, значит. Ждал, когда они приедут, чтобы встретить теплом. Нэнси подошла, наклонилась, вдохнула берёзовый дух — горьковатый, смолистый, чуть сладкий. Раскошелился, подумала с теплотой. Не пожалел денег на хорошие дрова. И уже представила, как вечером здесь загорится огонь, как они усядутся всей семьёй, укутаются в пледы и будут смотреть на языки пламени. Первый вечер в своём доме. У камина.

Нэнси развернулась и направилась к кухне. Под ногами хрустело — грязь была разная, и каждый шаг отзывался своим звуком. Мелкий мусор — сухой, рассыпчатый. Щепки — звонкие, ломкие. Но вдруг в одном месте хруст стал совсем иным.

Женщина остановилась. Подошва кроссовка наступила на что-то, издавшее влажный, чавкающий звук. Под ногой противно хрустнуло — не как дерево, не как камень, а как... как что-то живое, что когда-то было живым, а теперь превратилось в труху и слизь.

Нэнси присела на корточки. Сердце забилося чаще. В полумраке гостиной, куда уже начали заползать вечерние тени, она разглядела на полу тёмную кучку. Пригляделась — и внутри всё сжалось.

Это были осколки не стекла, нет, — того самого старого, разошедшегося дерева, которое они выкидывали с кухни. Но не просто щепки. В них, перемешанные с трухой, лежали остатки того, что когда-то здесь обитало. Мышиный скелет — маленький, хрупкий, раздавленный чьим-то неосторожным шагом, может, рабочих. Кости торчали из трухи белыми иголочками, шерсть свалаялась комками, и всё это было присыпано чем-то бурым, липким, похожим на засохшую слизь.

К горлу подкатила тошнота. Нэнси замерла, боясь дышать, боясь пошевелиться, боясь, что эта мерзость коснётся её даже через подошву. И в этом хрупком скелете, в этом забытом уголке, ей почудилось нечто большее — будто сам дом тихо напоминал о том, что у всякого нового начала есть своя тёмная подкладка, своя память, которую не смыть ни краской, ни новыми окнами.

И в этот момент — удар в окно.

Нэнси вздрогнула, вскрикнула, резко выпрямилась, едва не потеряв равновесие. Сердце ухнуло в пятки. А за окном, на фоне темнеющего неба, стоял Ивн. С мячом в руках — дурацким, детским, ярко-оранжевым, который вытащил из минивэна. И улыбался во весь рот. Подбросил мяч, поймал, снова подбросил, завлекая мальчишек.

Женщина выдохнула — так, что закружилась голова. И вдруг рассмеялась: нервно, облегчённо, счастливо. Посмотрела вниз, на тёмную кучку, на белые косточки, на бурые разводы. Какая разница, что под ногами? Она прошептала одними губами: «Какая разница. Всё отмоет». И пошла на кухню, стараясь не наступать на то место.

Вечерело. За окнами гостиной небо густело, наливалось синевой, которая к горизонту переходила в тёмно-фиолетовый оттенок. Солнце ушло, оставив бледную оранжевую полоску, которую медленно съедала темнота. Дом погружался в вечер и ждал, когда зажгут свет, затопят камин, когда в нём зазвучат голоса.

Нэнси открыла дверь на кухню — и ахнула. От прежнего разгрома, гнилых досок, разбитой раковины и битой посуды не осталось и следа. Просторная, светлая кухня, даже в сумерках угадывалось, какой она станет при свете. Новая столешница — светлая, гладкая, с тёплым древесным рисунком. Новая раковина из нержавеющей стали блестела даже в темноте. Плита стояла на месте, ещё в плёнке, не распакованная. Над головой — ровный потолок, зашитый вагонкой. Стены — со свежей штукатуркой, с нежно-сиреневым оттенком.

Хозяйка подошла к столешнице, провела по ней пальцем. Гладкая. Теплая. Настоящая. Моргнула, смахивая слёзы, и подняла глаза к окну. За окном, на фоне темнеющего двора, стоял Ивн. Он изображал её — смешно свёл глаза к переносице, высунул язык и кривлялся, как ребёнок. Смешной. Самый лучший дурак на свете. Она махнула на него рукой и потянулась к выключателю.

Свет загорелся мягко, тёплый, с желтоватым оттенком. И кухня преобразилась: заиграла тенями, стала ещё уютнее, ещё роднее. Каждая деталь — всё было сделано с любовью. Для неё. Нэнси отвернулась к столу, провела рукой по его поверхности, представила, как они будут завтракать здесь всей семьёй, как мальчишки будут разливать молоко, как девчонки будут стучать ложками...

Снаружи донёсся сигнал автомобиля. Короткий, резкий. Женщина интуитивно обернулась к окну. За окном, в темноте, стояла фигура. Неподвижная, чёрная на фоне чуть более светлого неба. Нэнси улыбнулась, подняла руку, помахала.

Фигура не ответила. Даже не шелохнулась. Беспокойство шевельнулось в груди. Нэнси сделала шаг к окну, вглядываясь. Свет в кухне горел ярко, и стекло работало как зеркало — она видела своё отражение, кухню за спиной, но фигура там, снаружи, просвечивала сквозь это отражение размытым пятном. Тогда Нэнси придвинулась почти вплотную, прижалась лицом к стеклу, ладонями закрываясь от света по бокам.

И увидела.

Тень стояла за её спиной. Не за окном — в отражении. Там, позади, в глубине кухни, кто-то замер — чёрный, смазанный, с нечёткими краями, но неоспоримо человеческий. Не шевелился, только смотрел ей в спину из того самого угла, где секунду назад была лишь пустота.

Нэнси окаменела. В груди оборвалось что-то, дыхание перехватило, и мир сузился до этого тёмного пятна, что неотрывно следило за ней. Женщина впиалась взглядом в стекло, не в силах оторваться.

Резкий поворот — и перед ней лишь пустая кухня, залитая тёплым, обманчиво-спокойным светом. Ни души. Снова взгляд к окну — фигура стояла на том же месте, но теперь ближе, и в этой чёрной массе проступало лицо: грязные, спутанные пряди, белесые глазницы. Нэнси вскрикнула — коротко, дико, не своим голосом. Отшатнулась, задела стол, едва не рухнула. Боль в ушибленном бедре вернула её в реальность — она рванула к выключателю. Щелчок. Темнота.

Женщина вылетела на крыльцо, потом во двор, жадно глотая холодный воздух, но в груди всё ещё колотилась паника. Обернулась назад: окно кухни было тёмным, пустым, лишь отблески вечернего неба дрожали на стекле. Никого. Ветер шелестел в сухой траве, и где-то вдалеке, над болотом, кричала птица.

— Мама, смотри! — заорал кто-то из мальчишек, и она вздрогнула. Ивн стоял у ворот, махая грузовому автомобилю, который медленно заезжал на участок. Фары выхватили из темноты кусты, коляску, мечущихся детей. Рабочие выпрыгнули из кабины, закурили, оценивая объём работы.

Нэнси глубоко вздохнула, заставила себя успокоиться. Показалось. Просто показалось. Усталость, нервы, переезд — вот и мерещится всякое. Она потёрла лицо ладонями и пошла к машине помогать.

Пока рабочие, не церемонясь, закидывали коробки и мебель прямо в гостиную — пыль столбом, ну и ладно, — дети носились по участку, как угорелые. Даже близняшки, недавно научившиеся ходить, копошились в увядшей траве, смешно переворачивались, пытались встать и снова шлёпались. Жизнь кипела.

Нэнси поймала себя на улыбке. Ну какая жуть? Обычная суeta. Просто не привыкла к тишине, а в доме эхо, ветер гуляет — вот и чудится. Она решительно отогнала страхи.

Вечер тащил прохладу, темнота сгущалась и вместе с ней пришёл настойчивый хор сверчков. Их стрекот обволакивал участок, делал его живым, но от этой живой музыки почему-то хотелось спрятаться за стенами, закрыться, зажечь свет.

Ивн затопил камин. Дрова затрещали, языки пламени заплясали, отбрасывая тёплые блики на стены. Дети, замороженные огнём, уселись вокруг на полу с планшетами и баранками — привычный вечерний ритуал, который здесь, у камина, казался особенно уютным.

Родители взялись за уборку. Иван подметал веником, сгребал в совок щепки, осколки, комки засохшей грязи. Нэнси следовала за ним с тряпкой, оттирала пол до блеска — потому что её дети будут здесь спать, ползать, играть. Всё должно быть чисто.

Она тёрла доски, меняла воду, снова тёрла. И всё время её не отпускал странный запах — тонкий, кисловатый, неприятный. Нэнси втягивала носом воздух, задерживала дыхание, пытаясь понять: кажется, или на самом деле?

— Ивн, — позвала она. — Не чувствуешь? Чем-то пахнет.

Мужчина замер с веником, принялся, пожал плечами:

— После ремонта всегда чем-то пахнет. Краска там, герметик. Нормально.

Нэнси кивнула, но запах не отпускал. Когда дошли до кухни, душок усилился. Женщина опустилась на колени, водила носом вдоль плинтусов, у новой столешницы, у раковины. Откуда? Новое окно? Пол? Не разобрать. Пахло чем-то противным — то ли уксусом, то ли хуже, будто кот нашкодил, хотя никакого кота у них не было. Она фыркала, принюхивалась, ползая по полу, и вдруг услышала смешок за спиной.

— Неожиданно, — раздался голос Ивна, и она подпрыгнула на месте. — Что вы здесь вынюхиваете, мадам?

Он стоял в дверях, улыбаясь, с веником наперевес.

Нэнси выдохнула, расслабилась.

— Пахнет чем-то, не могу понять. Как будто уксусом. Неужели не чуешь?

Ивн принюхался, наморщил лоб:

— Слушай, мне после стройки везде пахнет герметиком, краской. Тут, кстати, кислотный использовали, глаза резало, когда окна ставили. Думаю, он до конца ещё не выветрился. Не переживай ты так.

Он подошёл, хлопнул её по бедру:

— Давай-ка соображай перекус с чаем. Время испытать кухню, мадам.

Нэнси улыбнулась, поднялась с колен, отряхнула штаны. Подошла к окну и опустила жалюзи, чтобы не видеть темноты за стеклом. Чтобы не нагнетать мысли о том отражении, которое, конечно же, лишь привиделось от усталости. Конечно.

Она открыла шкафчик над столешницей. Кружки стояли ровным рядом — ещё пахнущие магазинной упаковкой, чистые, готовые к первому использованию. Пальцы чуть дрогнули, когда брала самую большую — Ивн любил чай в больших кружках. Поставила на стол, достала кастрюльку для каши. Молоко, крупа, соль, сахар — всё под рукой, всё разложено по местам, как она мечтала.

Пока каша закипала, Нэнси нарезала хлеб — толстые ломти, как любят мальчишки. Достала масло, сыр, колбасу. Бутерброды складывались стопкой на большое блюдо, и с каждым движением становилось спокойнее. Привычные дела, привычный ритм. Каша забулькала, запахло молоком и теплом.

Хозяйка всё ещё чувствовала кислый запах, тонкой ниточкой, вплетающейся в ароматы еды. Но каша пахла ярче. Домашняя еда, настоящая жизнь — они были сильнее. Пройдёт, говорила Нэнси себе. Мы проветрим, отмоем, и останется только наше.

Она переставила кашу на поднос, сверху поставила тарелку с бутербродами, чашки, заварник, сахарницу. В несколько заходов перетасила всё к камину, где горел огонь, где сидели дети, замороженные мультиками и пламенем, где Ивн возился с дровами.

— Сейчас, ещё чайник принесу, — крикнула Нэнси и вернулась на кухню.

Чайник закипал. Она выключила его, взяла в одну руку, другой потянулась к выключателю.

Щёлк.

Свет погас. Кухня погрузилась в темноту — только бледная полоса от месяца пробивалась сквозь щели жалюзи.

И в этой темноте, из угла — из того самого, где днём она собирала мусор, где мерещились отражения, — начало проступать очертание.

Сначала просто тень, гуще окружающей тьмы. Потом — контуры. Человеческие, но неправильные. Слишком вытянутые и тонкие, словно выдавленные из стены, рождённые штукатуркой и сыростью. Тень отделялась медленно, нехотя, будто сам дом отпускал её с неохотой, и она обретала объём, дышала, жила своей, отдельной жизнью.

В темноте блеснули глаза. Не отсвет — именно блеск, влажный, липкий, как у рыбы, вытасненной из воды. Они не отражали свет — они его впитывали. Тень сделала шаг вперёд

— бесшумно, невесомо. Остановилась у самого края, где кончалась тьма и начинался свет, льющийся из гостиной. И замерла.

Прислушивалась. Голоса детей, смех Ивна, звон посуды, треск камина — всё доносилось приглушённо, будто из другого мира, из-за толстой стены, которую не пробить. Тень повернула голову — на звук, свет и жизнь, кипевшую за стеной. Сделала ещё полшага — и застыла. Свет резал, не пускал, жёг.

Она не могла выйти. Не сейчас. Слушала. Запоминала.

В гостиной Нэнси разливала чай, смеялась, кормила детей, не зная, что в темноте кухни, в нескольких шагах от неё, кто-то стоит и смотрит на свет.

Ждёт, когда свет погаснет везде.

Ждёт, когда они останутся одни в темноте.

Глава 6

Нэнси пробудилась на заре, но тело, налитое приятной, ленивой тяжестью после первой настоящей ночи в их собственном доме, не торопилось подчиняться привычному спешному ритуалу. Она лежала, не размыкая век, ощущая, как бледные отсветы утра играют на потолке, и всё ещё не верила: вот она, первая ночь. В своём.

Вечерний уют у камина плавно перетёк в импровизированный лагерь: мебель ещё не собрана, коробки громоздятся по углам, матрасы раскиданы на полу подальше от очага, чтобы искры не долетели. Спали все вповалку — как в походе, только лучше.

Женщина улыбнулась, прислушиваясь к ровному дыханию. Дети спали так, как не спали в городе уже давно: крепко, глубоко, без обычных всхлипов и метаний. Свежий воздух и дикая беготня по участку сделали своё дело — лучшее лекарство от капризов. Нэнси мысленно похвалила себя, Ивна, весь этот безумный переезд — они всё сделали правильно. Обживутся, приведут в порядок, заживут.

Не хотелось вставать. Тишина стояла такая, что уши закладывало. Нэнси позволяла себе просто лежать и впитывать это мгновение. Она осторожно повернула голову, скользнула взглядом по матрасам. Близняшки сопели в обнимку, смешно раскинув руки. Средний, Майк, подложил ладошку под щеку и чему-то улыбался во сне. Рядом с ним — сбитое одеяло, съехавшая подушка.

Пустота.

Нэнси дрогнула. Что-то оборвалось где-то в груди и провалилось в ледяную бездну. Алекса не было.

Она села рывком, лихорадочно обвела взглядом все матрасы, все углы. Может, переполз к Ивну? Нет — муж спал рядом, раскинув руку, но под ней было пусто. Может, залез за коробки? Бред.

Холодная волна прокатилась от затылка до пяток. Нэнси рванула Ивна за плечо, не думая о том, что разбудит детей, — страх уже сжал горло.

— Ивн, вставай! Алекса нет!

Ивн встрепенулся мгновенно — так просыпаются люди, привыкшие к экстренным пробуждениям. Спросонья он ничего не понял, заморгал, но, увидев её лицо, вскочил.

— Где?

— Не знаю! Я проснулась, а его нет!

Они заметались по комнате, заглядывая за коробки, под столы, в каждый тёмный угол. Пусто. Ивн рванул на кухню, Нэнси — в прихожую. Дверь на улицу была заперта изнутри на щеколду, детские куртки висели на месте. Значит, не выходил.

— Наверх! — шепнул Ивн, и они оба кинулись к лестнице.

Сердце колотилось где-то в ушах, заглушая топот. В голове проносились самые страшные картинки: открытое окно, опасные предметы, бытовая химия. Господи, только не это.

Нэнси почти взлетела на второй этаж, но замерла на первой ступеньке и резко выбросила руку назад, останавливая Ивна жестом. Тот застыл, тяжело дыша. И замер вслушиваясь.

На верхней площадке, спиной к лестнице, сидел ребёнок. Застыв, глядя в темноту распахнутой двери, он чуть склонил голову набок — словно прислушивался к едва слышному голосу, струившемуся из пустоты. Мать затаилась на ступенях, боясь дышать, чувствуя, как сердце колотится о рёбра.

Мальчик кивнул — раз, другой. И заговорил: доверительно, вполголоса, будто продолжал прерванный разговор.

— Не бойся, я никуда не уйду. Мы здесь теперь жить будем. — Пауза, словно он ждал ответа. — Нет, Эсти, я тебя не брошу.

Снова тишина. На лице Алекса расцвела улыбка — тёплая, обращённая к невидимому собеседнику.

— Ты хорошая.

Голос его упал до заговорщицкого шёпота:

— Я буду послушным, и мы будем играть.

Он замер, вслушиваясь, и улыбка становилась всё шире — до холодка, пробежавшего по спине Нэнси.

— Честно? — глаза мальчика вспыхнули. — Договорились. Попробую.

Маленькая ладошка потянулась в пустоту, замерла, сжалась в воздухе — будто встретила чью-то невидимую руку. Женщина готова была поклясться, что видит, как незримые пальцы смыкаются с детскими.

Но половица под ногой предательски скрипнула — и тень над ребёнком дрогнула, сместилась. Мать рванула вверх, забыв об осторожности, схватила сына в охапку, прижала к груди, чувствуя, как он вздрогнул от неожиданности.

— Мама, ты чего? — голос его звенел обычной детской ноткой, без следа той странной торжественности, что звучала мгновение назад.

— С кем ты говорил? — выдохнула она, вглядываясь в тёмный проём. Пусто.

— Ни с кем, — Алекс пожал плечами и кивнул на куклу, лежавшую лицом вниз. — С Эсти. Она не спала. Мы секретничали.

Нэнси рухнула на колени, прижимая его к себе, чувствуя, как дрожат руки, как слёзы жгут горло.

— Ты ушёл без меня! Почему не разбудил? Мы с папой чуть с ума не сошли!

Мальчик похлопал её по спине успокаивающей ладошкой.

Эсти. Он назвал её Эсти. Но куклу звали совсем иначе — её купили для двойняшек, а имя придумали родители. Ивн тогда пошутил, дал ей какое-то нелепое прозвище, над которым Нэнси долго смеялась. Какое? Чёрт, какое же? Она перебирала в памяти, но имя ускользало, таяло, будто его стирали. Точно не Эсти. Совсем не Эсти.

— Н-да, Нэнс, ты всех вчера уложила, кроме Рейчел, — раздалось сзади.

Муж попытался пошутить, зная, что жена обычно смеётся над этим дурацким именем. Но сейчас смех застрял у него в горле. Он поднял куклу — рука дрогнула, пальцы вдавились в тряпичное тело, и он застыл, глядя на сына. Потом закашлял — резко, хрипло, будто поперхнулся воздухом.

Нэнси, уже взявшая Алекса за руку, чтобы увести вниз, вопросительно обернулась. Взгляд мужа был красноречивее слов — он прижал куклу к груди, пряча от мальчика, и едва заметно качнул головой: потом. Не при нём.

Она поняла без объяснений. Кивнула, сглотнула вставший ком и, стараясь, чтобы голос звучал ровно, зашептала сыну:

— Пойдём, милый. Ещё рано. Надо поспать.

Алекс послушно кивнул — без возражений и привычного детского «ну, ма-ам». И бесшумно двинулся следом, ступая босыми ногами по холодному полу с такой покорностью, какой за ним никогда не водилось. Он ведь обещал быть послушным.

Ивн проводил их взглядом, дождался, пока шаги стихнут внизу, и только тогда поднёс куклу к свету.

Рейчел никогда не была красавицей — Ивн сам дал ей это имя в насмешку, когда купленная для двойняшек игрушка оказалась нелепой, дешёвой, с карикатурным лицом. Но сейчас кукла выглядела иначе. Страшно.

Волосы — жидкие, синтетические, когда-то заплетённые в косички — были наполовину выдраны. Пряди торчали неровными пучками, закрывая лицо, и были измазаны чем-то серым, липким. Пеплом? Сажей? Ивн провёл пальцем по волосам — на подушечках остался жирный,

холодный след. Он понюхал. Тот самый кислый запах, который Нэнси чуяла вчера на кухне. Запах застоявшейся воды и чего-то давно пропавшего.

Ивн перевернул куклу лицом вверх — и замер.

Веки. Те самые, что должны были наивно опускаться, когда куклу наклоняли, создавая дурацкую иллюзию сна, — были вырваны. Не оторваны, не отрезаны — именно вырваны, с кусками ткани, из которой было сшито лицо. Под веками зияли дыры, и в этих дырах сидели глаза. Они смотрели. Не мигая, не отводя взгляда. Смотрели прямо на мужчину, и в этом взгляде не осталось ничего от прежней бездушной игрушки.

Рот куклы — простая нарисованная улыбка — был размазан. Кто-то водил пальцем, размазывая грязь, превратив улыбку в болезненное пятно с подтёками, стекающими на подбородок.

Платье, когда-то розовое и нарядное, покрывали грязные разводы. А на груди — он приоткрылся и отшатнулся — виднелись вмятины. Будто куклу сжимали с силой, до хруста, оставляя следы, которые уже не расправлялись. И чем дольше Ивн всматривался, тем отчётливее проступали в этом отпечатке контуры пальцев — тонких, длинных, не детских.

По спине пробежал холод.

— Н-да, Рейчел уже не та, — пробормотал он, пытаясь придать голосу ровность. Сам с собой. Чтобы не слышать, как стучит сердце. И добавил, уже шутливо: — Кто ж выдержит переезд с четырьмя детьми...

Ивн спустился вниз, нервно хмыкая под нос. На кухне с размаху бросил куклу на стул — пусть сидит, чёрт с ней. Рейчел или Эсти — какая разница. Дети есть дети, могли поиграть, измазать, выдрать волосы. Алекс вчера носился по участку как угорелый — мог и в пепел залезть, и ещё чего натворить. Ничего страшного.

Мужчина принялся варить кофе, тщательно отмеряя ложки, следя за огнём, чтобы занять руки и голову. Пока вода закипала, он смотрел в окно на серое утро, на участок, который предстояло облагородить, и медленно выдыхал страх.

Нэнси тем временем уложила Алекса на матрас, укрыла одеялом, погладила по голове. Мальчик уснул мгновенно — оставалось только гадать, сколько он просидел на лестнице этой ночью.

Хозяйка вернулась на кухню, где Ивн уже разливал кофе по кружкам. Они сели друг напротив друга, и некоторое время молчали, глядя, как пар поднимается над горячим напитком.

— Ну и что? — спросила Нэнси тихо.

— Да ничего, — Ивн пожал плечами, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Куклу, похоже, вчера где-то усердно изваляли. Волосы повывдирали, веки оторвали. Бывает.

— Веки оторвали? — брови Нэнси поползли вверх.

— Ну да. Похоже, играли как-то... странно. Ты же знаешь, мальчишки иногда такое вытворяют.

Нэнси кивнула, но взгляд остался тревожным.

— Он назвал её Эсти, — сказала она.

Ивн нахмурился.

— Рейчел, — поправил он. — Я назвал её Рейчел. В честь той страшненькой актрисы из ужастика, помнишь?

— Рейчел, — подтвердила Нэнси. — Точно. Но Алекс сказал Эсти. Почему?

— Да мало ли, — отмахнулся Ивн, но рука, тянувшаяся к кружке, дрогнула. — Перепутал. Или придумал своё имя. Дети любят называть игрушки по-своему.

— Он как будто разговаривал с кем-то. С паузами. Как будто ему отвечали. Головой кивал.

Ивн помолчал, отхлебнул кофе.

— Нэнс, послушай. Мы оба не спали нормально несколько месяцев. Переезд, стройка, нервы. Ты сама говорила, что вчера на кухне тебе что-то привиделось. Помнишь? Отражение какое-то.

Она вздрогнула, но кивнула.

— Вот видишь. Взрослый человек устал — и ему мерещится. А Алексу шесть лет. Сейчас возраст, когда воображение работает на полную катушку. Выдуманные друзья, разговоры с игрушками — норма. Главное — не давить, не акцентировать. Пройдёт. Пацаны они такие... Я в его возрасте такие вещи вытворял — мама за голову хваталась. Не бери в голову.

Нэнси долго смотрела на него, потом медленно выдохнула.

— Ты прав. Наверное. Просто... слишком много всего сразу.

— Именно. А ты посмотри, как дети спят, — Ивн кивнул в сторону гостиной, откуда доносилось ровное дыхание. — В городе они так не спали никогда. Свежий воздух, простор, беготня. Это же счастье.

Нэнси улыбнулась, впервые за утро.

— Я сама выспалась как никогда. Мне не верится, что это наш дом.

— Наш, — подтвердил Ивн. — И мы его сделаем таким, как захочешь. Со временем и второй этаж отремонтируем. А сегодня, знаешь, чем займёмся? Мы будем копать задний двор. Пока погода позволяет, и земля не замёрзла.

Нэнси оживилась. Глаза её, ещё минуту назад затуманенные утренними страхами, вдруг вспыхнули живым, тёплым светом.

— Огород? Мне? Прямо сегодня?

Она почти подпрыгнула на стуле, и Ивн невольно улыбнулся, глядя на эту перемену. Вот она — его Нэнси. Та, что умеет радоваться мелочам и готовая вцепиться зубами в новую жизнь.

— А чего тянуть-то? — Ивн пожал плечами с напускной небрежностью. — Вскопаем, а весной уже посадим всё, что захочешь. Ты же мечтала о своём саде-огороде. Давай пробовать.

Нэнси засмеялась — легко, радостно, и этот смех разогнал остатки утреннего морока.

— Серьёзно? Прямо с утра лопаты в руки?

— Ага. Я там, кстати, в сарае инструмент нашёл, старый, но рабочий. Должны справиться.

Женщина встала, подошла к окну, раздвинула жалюзи. За окном серело утро, туман стелился над участком, цеплялся за голые ветки деревьев, но где-то там, за горизонтом, уже пробивалось солнце — робкое, осеннее, но такое родное.

Она смотрела на этот туман, мокрую траву, забор, и вдруг грусть кольнула где-то под сердцем. Плечи её опустились.

— За день вряд ли успеем, — вздохнула Нэнси, не оборачиваясь. — А завтра тебе на работу уже. С таким графиком, когда руки дойдут — неизвестно.

Ивн подошёл сзади, встал вплотную, положил руки ей на плечи.

— Не кисни, — сказал он просто. И в голосе его было что-то такое, отчего она насторожилась. — Я договорился.

Нэнси резко обернулась, вскинула брови.

— Когда бумажки по дому подавал, в администрации. Мужика там одного встретил, разговорились. У него трактор есть, и он согласился помочь. По-соседски.

Нэнси смотрела на него и не верила.

— Это тебе не город, — усмехнулся Ивн, читая её мысли. — В деревне надо помогать друг другу. Я ему тоже обещал подсобить, если что. Так уж здесь заведено.

Нэнси молчала. Смотрела на его усталое, но довольное лицо, и чувствовала, как внутри разрастается что-то тёплое, огромное, благодарное.

— Ты... — начала она и осеклась.

— Что? — Ивн притворно нахмурился. — Не веришь, что я могу?

— Верю, — выдохнула Нэнси. — Всему верю.

И отвернулась к окну, чтобы он не видел, как глаза защипало.

Нэнси решительно взяла день в руки. Детям — оладьи, Ивну — плотные бутерброды, чтобы хватило до обеда. Через два часа дом гудел: дети носились по комнатам, влетали на кухню, вылетали обратно, близняшки прыгали по матрасам, радостно повизгивая. Ивн возился во дворе, разбирал сарай, готовил участок к приезду трактора. А Нэнси стояла у плиты, помещивала суп и впитывала этот гул как долгожданную музыку.

Дом наполнялся теплом, уютом, жизнью — всем тем, чего так не хватало долгие годы.

Когда за окном взревел мотор подъехавшего трактора и Ивн замахал руками, указывая путь, дети высыпали на крыльцо с восторженными криками. Нэнси поспешила следом, вытерла руки о фартук и подхватила куклу, всё ещё сидевшую на стуле. Хозяйка решительно сунула игрушку в мусорную коробку, придавленную старыми газетами и обрывками упаковочной плёнки. Пусть лежит. На выброс. И вышла на крыльцо встречать новую жизнь.

А в доме, на втором этаже, в комнате, забитой старым хламом до потолка, было темно. Окно там давно закрывали плотные, добротные шторы — когда-то бордовые, а теперь выцветшие до цвета запёкшейся крови. Они не пропускали ни лучика, будто нарочно продлевали ночь. Здесь, должно быть, когда-то была спальня.

Снаружи загрохотал ковш и закричали дети. Внутри же, в тишине, послышалось, как кто-то начал перебирать вещи.

Сначала тихо — шорох полиэтиленовой плёнки, смятой, старой, которую никто не трогал годами. Она мялась, хрустела, словно её сжимали и разжимали, пробовали на ощупь, вспоминали забытую текстуру.

Потом стук — глухой, деревянный. Ящик в углу, доверху набитый тряпьем и старыми вещами, кто-то сдвинул с места, и он глухо стукнулся о соседний короб, тяжёлый, набитый чем-то.

Заскрипели половицы под невидимыми шагами — лёгкими, крадущимися, будто кто-то ходил на цыпочках, боясь выдать себя.

Что-то упало. С полки, наверное, или с того самого ящика. Упало с глухим стуком, а потом рассыпалось с дребезжанием — по полу покатилося что-то мелкое, круглое.

Коробка из-под обуви, перевязанная бечёвкой, лежавшая на верхнем ящике, теперь валялась на полу, раскрывшись, вывалив содержимое. Маленькие футляры — тубы с непроявленной плёнкой, пыльные, старые, с наклейками, на которых уже ничего нельзя было разобрать, — покатались по полу, стуча по дереву, разбегаясь в разные стороны, как живые. Некоторые выкатились за порог и покатались дальше, вниз по лестнице, предательски громко цокая на каждом стыке.

Следом, кувыркаясь, вывалился фотоаппарат. Старый, плёночный, тяжёлый, металлический, с острыми гранями. Он глухо стукнулся о половицу, отскочил и замер у самого порога, объективом глядя в темноту коридора.

В комнате стало тихо.

Тот, кто перебирал вещи, замер. Прислушался к тому, как катушки с плёнкой скатываются по лестнице, замирают где-то внизу. Потом раздался вздох — долгий, удовлетворённый, будто кто-то сделал важное дело.

Дом требовал порядка. Не хаоса, не бездумного складирования, не забвения. Всё, что лежало здесь годами, всё забытое и брошенное, — требовало внимания. Или освобождения. Избавиться от хлама — значит выкинуть память. Принять его с уважением — значит признать, что у этого дома была жизнь до них. И эта жизнь никуда не ушла.

За окном ревел трактор. Кричали дети, смеялись Нэнси с Ивном — и этот гул, казалось, заполнял собой всё пространство, оттесняя тени в углы.

На втором этаже плотные шторы чуть колыхнулись — хотя окно было закрыто и сквозняков не было. В узкую щель между тяжёлыми полотнищами открывался кусочек двора: сует-

тящиеся люди, рычащий трактор, вздымающий пласты земли, дети, мечущиеся по участку, Нэнси на крыльце с ладонью у глаз. Щель оставалась достаточно узкой, чтобы оставаться незамеченной, и достаточно широкой, чтобы видеть всё. Лицо, скрытое спутанными прядями, прижалось к ткани. Дыхание, которого не могло быть, оставляло на шторе влажное пятно — оно расплзлось медленно, темнея, пропитывая плотную материю чем-то липким. Края подсыхали, но середина оставалась влажной — там, где рот касался ткани снова и снова.

Не первый раз. Штора хранила следы: несколько пятен разного размера и разного времени. Кто-то стоял здесь и раньше — смотрел, как приезжали к дому, обходили его, обнимались, мечтали. Сегодня пятно было большим. Влажным. Тёплым.

Земля оказалась рыхлой, податливой — не противилась трактору. Острые зубцы плуга легко врезались в чернозём, переворачивая пласты, и за два часа участок преобразился: вместо бурьяна и дикой поросли тянулись ровные борозды, пахнущие свежестью и влагой. Ивн довольно крикнул, приобнял жену за плечи:

— К обеду, думаю, закончим, — кивнул он на механизатора, ловко управлявшего трактором. — Смотри, как идёт.

Нэнси стояла, прижав ладони к груди, и не могла сдержать восхищения: на месте вчерашних зарослей возникло настоящее хозяйство, её огород. Борона шла по полотну, как кисть художника, оставляя за собой идеальные полосы.

— Прекрасно! — выдохнула она. — Половину сделает — надо чаю предложить. Побегу, бутерброды сделаю, а то неудобно. Человек старается.

Ивн одобрительно кивнул:

— Давай. И на всех сделай. Я тоже с утра только кофе пил.

Нэнси упорхнула в дом, а Ивн остался наблюдать за работой. Трактор рычал, земля пахла так, что кружилась голова, и вдруг он поймал себя на мысли, что это, наверное, и есть счастье.

Через час, когда половина огорода была готова, во дворе красовался расстеленный плед. На подносе сияли бутерброды — с колбасой, сыром, маслом и зеленью, привезённой из города. Рядом примостились печенье, конфеты, два заварника с чаем и стопка кружек. Мальчишки получили по термосу с какао и были отправлены на траву под присмотр отца, близняшки получили поилки, продолжили довольно гулять, не мешая взрослым.

Рони, механизатор, заглушил мотор, спрыгнул с трактора и, отряхивая руки, подошёл к пледу — коренастый мужчина лет шестидесяти, с обветренным лицом и мозолистыми ладонями. Он смущённо улыбнулся, увидев угощение:

— Ну вы даёте! — прогудел он, усаживаясь на край пледа. — Прямо как в кино. Спасибо, давно меня так не угощали.

— Садись, Рони, — Ивн подвинул кружку. — Рассказывай, как здесь жизнь идёт.

Рони взял бутерброд, откусил, довольно прищурился:

— А что рассказывать-то? Живём помаленьку. Посёлок у нас небольшой, но дружный. Место здесь особенное — не зря Мшарами зовут. Кто не привык — тому болота да сырость, а кто понимает — тому красота и благодать.

Нэнси подлила ему чаю, слушая с интересом.

— Вы посмотрите, какая природа! — Рони обвёл рукой горизонт. — Осенью — золото, глаза не оторвать. Зимой — тишина, снег, лыжи можно прокладывать куда хочешь. Весной — птицы, разливы, грибы попрут — только успевай. Летом — ягоды, рыбалка. А рыба у нас в речке знатная: щука, окунь, а если дальше пройти — и судак бывает.

— А грибы где собирать? — забыв о чае, спросила Нэнси.

— А вон за тем леском, — Рони махнул рукой. — Там белые, подосиновики, лисички. Места знать надо, но я могу показать. Или жена с собой возьмёт.

Ивн рассмеялся:

— Покажи, Рони, конечно. А то она городская, ничего не видела.

Рони кивнул, довольно улыбаясь.

— Это хорошо, что вы сюда приехали. Молодые, с детьми. У нас здесь многие стареют, молодёжь в города уезжает. А без молодых-то деревня умирает. Так что вы как глоток свежего воздуха.

Нэнси зарделась от удовольствия.

— А вы сами здесь давно?

— Я-то? — Рони отхлебнул чай. — Родился здесь. И отец, и дед. Всю жизнь. Работал на ферме, потом закрыли, теперь в магазине пристроился. Жена у меня магазин держит, так что я при ней — и грузчик, и продавец, и сторож иногда. — Он засмеялся. — Зато своё, не на дядю.

— А магазин ваш где? — Ивн пододвинулся ближе.

— Да в центре, единственный на всё село. Завтра привоз будет, я скажу жене, чтобы отложила для вас свежака. У нас и молоко, и яйца, и мясо бывает. А в субботу, кстати, ярмарка у магазина. Каждую неделю. Кто что вырастил, собрал, сварил — всё несут. Можно купить, можно обменять. Приходите обязательно, с соседями познакомитесь. У нас народ простой, но душевный. Без этого в деревне никак.

Нэнси переглянулась с Ивном. Ярмарка — это замечательно. И познакомиться, и продуктов прикупить.

— Обязательно придём, — сказал Ивн.

— Рони, а кто здесь жил раньше? — Нэнси повернулась к механизатору, протягивая ему тарелку. — Ну, до нас. Вы же, наверное, всех знаете.

Рони взял печенье, благодарно кивнул, отхлебнул чай, обжигаясь, и задумался, глядя куда-то в сторону дома.

— Жили, значит, — протянул он неспешно, и в голосе его послышалась та особая тягучесть, с какой деревенские люди рассказывают старые истории. — Давно это было, лет двадцать назад, может, больше. Семья с ребёнком. Мужик там был — золотые руки. Заводной такой, везде успевал. Дом этот сам строил, своими руками, да подрядчиков нанимал, и соседей привлекал. Качественно сделал — вон как стоит до сих пор, хоть и без ухода столько лет. А ещё он в газетах писал — в нашей районной и в соседней. Статьи какие-то, заметки. Говорят, талантливый был, много чего придумывал. Крутился как мог, в общем. И сам безотказный — если помощь нужна была, всегда приходил. Хороший мужик.

Рони с удовольствием хлебал чай, морщился, обжигая губы, и довольно кричал — видно было, что деревенский уклад приучил его ценить простые радости.

— А что жена его? Дети? — не унималась Нэнси, подаваясь вперёд.

Ивн удивлённо покосился на жену. Обычно её мало интересовала жизнь окружающих, она вечно вторила: «За своей бы углядеть, чужая — не моя забота». А здесь вдруг такая любознательность.

Рони замер с кружкой у губ, будто решая, стоит ли продолжать. Потом поморщился — то ли от горячего, то ли от воспоминаний.

— Жена, — протянул он задумчиво. — Жена появилась позже. Он уже дом почти достроил, когда привёз её. Красавица такая, что судачили долго — как это он уговорил её в Мшары переехать? Будто не к месту она была, понимаете? Слишком уж хороша для нашей болотистой глуши. Городская, ухоженная, с руками тонкими, не для работы в огороде точно.

Он откусил печенье, прожевал, собираясь с мыслями.

— Мужик мотался постоянно по заработкам. Газеты тогда были популярны, статьи строил, в двух изданиях успевал — в нашем и в соседнем районе. Крутился как мог. А она... она не выходила в люди. Сидела на своём дворе, как нелюдимая. Бабы наши с детьми обычно собираются, друг дружке помогают, кто с огородом, кто с ребятей. А эта — сама по себе. Ни к кому не ходила, да к себе не звала. Красивая, но... холодная, что ли.

Нэнси слушала, затаив дыхание. Солнце пригревало, но ей вдруг стало зябко.

— А потом... — Рони вздохнул, отставил кружку. — Потом беда приключилась. Мальчишка у них был, лет семи-восьми. С детворой гонял на велосипеде, любил скорость. И в один день не вернулся. Искали всем селом, мужики прочёсывали лес, болота — всё без толку. Пропал. Как сквозь землю провалился. Наверное, на болотах, там трясина — засосёт, и не найдут никогда.

Он поднял глаза на Нэнси и Ивна, и взгляд его стал жёстким, предупреждающим.

— Вы это... за своими смотрите в оба. Места здесь красивые, но опасные. Детям одним на болота нельзя. И к лесу тоже с умом надо.

Ивн кивнул, машинально оглянувшись на мальчишек, возившихся в траве.

— А дальше что? — тихо спросила Нэнси.

— А дальше... — Рони покачал головой. — Мужика как подменили. Перестал писать, перестал с людьми общаться, и из дома редко выходил. Был такой заводной, везде успевал, а тут — сдулся, как шарик. Раз в неделю, в две, умотает куда-то, вернётся, ни с кем словом не обмолвится. Потом как-то на нет и сошло, не видели и не слышали, и вовсе пропали. Не прощаясь, без переезда. Дом бросили. Всё, что внутри было, — бросили.

Нэнси представила: семья, строившая дом мечты, вкладывавшая душу, надеявшаяся на счастье, — и вдруг столкнувшаяся с горем, перед которым всё остальное оказалось пылью.

— Лет десять-пятнадцать после, дом так и стоял, — продолжал Рони. — Одиноким, никому не нужный. Потом я слышал, за долги его какая-то фирма забрала. Риелтор стал приезжать, показывать. Да только мало кто позарится. Сейчас все в города рвутся, а здесь — глушь, работа нужна, уход нужен. Не каждому такое счастье.

Он допил чай и хлопнул себя по коленям.

— Ну всё, пора за работу. Сегодня банный день у нас, моя ждать будет — заругает, если опоздаю.

Рони поднялся, поправил комбинезон и зашагал к трактору, оставив на пледе пустую кружку и горьковатое послевкусие своих слов.

Нэнси смотрела в одну точку. История тронула её глубже, чем она ожидала. Она представила ту женщину — красивую, городскую, которую муж уговорил переехать в эту глушь. Как та, наверное, надеялась на новую жизнь, уют и счастье. Как строила планы, обустроивала дом. Как потом, после трагедии, дни превратились в серую муть, а стены, которые должны были защищать, стали тюрьмой для её горя.

И мальчишка... семи лет, как её старший. Тот же возраст, та же неуёмная энергия, то же желание носиться по улице, познавать мир.

Нэнси обернулась на Алекса. Он возился в траве с близняшками, смеялся, что-то рассказывал. Обычный ребёнок. Живой, здоровый, счастливый.

У неё защипало в глазах. Нэнси отвернулась, чтобы Ивн не заметил.

— Ты чего? — тихо спросил он, обнимая её за плечи.

— Ничего, — шепнула она. — Просто... страшно. Как же они, наверное, мучились. И дом этот... он же всё помнит. Каждый угол помнит их горе.

— Нэнс, — Ивн прижал её крепче. — Это было давно. Мы здесь ни при чём. Мы новую жизнь начинаем, помнишь? Это главное.

— Я знаю. — Она вытерла глаза ладонью. — Знаю.

— И не надо переживать. Мы будем смотреть за детьми. Забор вон какой сделали. И предупреждены — значит вооружены. Рони прав, надо быть осторожнее.

Нэнси кивнула, но осадок остался. Где-то глубоко, под рёбрами, поселился холодок. Она посмотрела на дом. Тот стоял молчаливый, уютный, с новыми окнами и свежеевыкрашенным фасадом. Но теперь в его облике ей мерещилось что-то неуловимое — будто он хранил чужую тайну и не спешил делиться.

— Ты лучше подумай, что на ярмарку потащишь на следующей неделе. Надо же вливаться в мшарский колорит! — Ивн шутил, хитро прищурившись, и точно нашёл нужную тему.

Нэнси оживилась, глаза заблестели.

— А что, — протянула она задумчиво. — Леденцы? У меня есть формочки, могу накрутить целый пакет. Дети такое любят, и соседям, может, зайдёт.

— Леденцы — это хорошо, — кивнул Ивн. — А я, если что, с собой возьму инструмент. Вдруг кому подкрутить что надо, я же теперь почти деревенский умелец.

— Ой, да тебя с твоим инструментом на порог не пустят, — фыркнула Нэнси. — Скажут, приехал городской, учит тут.

— А я не учить, я помогать! — Ивн прижал руку к груди, изображая благородство. — Бесплатно, между прочим. За улыбку и чашку чая.

— Бесплатно — это подозрительно, — засмеялась Нэнси. — В деревне бесплатно не бывает. Здесь или бартер, или дружба навек.

— Ну, значит, будем дружить. Я вообще дружелюбный.

Она толкнула его в плечо, и он рассмеялся в ответ.

— А если серьёзно, — продолжила Нэнси, — может, печенья напечь? Сладкого, с корицей. Запах на всю ярмарку пойдёт, народ сам и подтянется.

Трактор тем временем бодро терзал землю — мотор урчал ровно, уверенно, и чёрный, жирный чернозём лоснился на солнце, ложась ровными, красивыми полосами. Казалось, сама почва радуется, что о ней, наконец, вспомнили.

— Смотри, — Ивн кивнул на поле. — Как масло. Даже не верится, что здесь вчера бурьян стеной стоял.

— А через год у нас здесь будет всё, — мечтательно протянула Нэнси. — Картошка, морковка, зелень... И яблони те старые, может, отойдут, если подрезать.

Ворковали, мечтали, шутили, позабыв о грусти. Беседа текла меж ними, как ручеёк — чистый, прозрачный, согретый солнцем. Они настраивались на новый лад, перебивали друг друга, хохотали над каждой шуткой, будто стали беззаботными.

Дети, дорвавшись до улицы, носились, не жалея ног. Мальчишки с визгом штурмовали свежевскопанные гряды, падали в рыхлую землю, вскакивали и неслись дальше, перемазанные чернозёмом, счастливые до беспамятства. Они находили в грунте сокровища — старые коряги, похожие на драконов, камни, что тут же становились «алмазами», ветки, превращавшиеся в мечи и волшебные посохи. Воздух звенел от детских голосов, смеха и от того самого счастья, ради которого всё и затевалось.

Работы у механизатора оставалось на полчаса. Трактор урчал ровно, уверенно, и земля ложилась идеальными полосами. Нэнси уже прикидывала, где посадит морковь, где картошку, где зелень. Ивн разбил небольшой костерок из веток для детей и улыбался чему-то своему.

Вдруг идиллию прервал звук. Нехарактерный, резкий — скрежет, от которого заныли зубы. Металл встретился с чем-то, что не желало уступать. Трактор дёрнулся, мотор взревел напряжённо и заглох.

Механизатор попытался сменить угол, завёл мотор снова, осторожно тронулся — и опять тот же звук. Что-то мешало. Что-то твёрдое, большое, зарытое глубоко в землю, не давало зубьям идти дальше.

— Твою ж дивизию, — донеслось из кабины.

Рони выпрыгнул из трактора, подошёл к месту, где земля не поддавалась, присел на корточки, разгрёб руками рыхлый слой. Хмыкнул. Потом выпрямился и махнул рукой Ивну с Нэнси.

— Подойдите-ка!

Нэнси осталась с детьми, тревожно вглядываясь в конец участка. Ивн стремительно направился туда, приговаривая на ходу:

— Ну что за сюрприз? Почти закончили ведь! Ну что там могло быть? Камни? Корни?

Ивн подошёл, и они с Рони уставились в землю. Из чёрной, жирной толщи проступали очертания чего-то металлического — вросшего, вьёвшегося в почву за долгие годы. Ржавые края, округлые бока, покрытые налётом времени.

— Бочки, что ли, — коротко сказал Рони. — Похоже, старые бочки. Из-под горячего, наверное.

Он ковырнул носком сапога, и из земли показался ещё один край — рядом, вплотную. Потом ещё. Целое скопление.

— Раньше многие так делали, — пояснил механизатор, хмуясь. — Чего нельзя сжечь — закапывали в конце участка. Чтобы не вывозить, не платить. Лишь бы с глаз долой.

Ивн присвистнул.

— И что теперь?

— Надо брать глубже и дальше, — Рони почесал затылок. — Похоже, тут целая свалка прикопанная. Выкопаем дырищу, конечно, потом заровняем. Но без ямы не обойтись, надо всё это поднимать.

— А выровнять потом сможем?

— Сможем, — кивнул механизатор. — Земли здесь хватит. Но сегодня уже не закончим, сам видишь.

Ивн вздохнул, махнул рукой — куда деваться, — и Рони полез обратно в кабину.

Трактор взревел снова, теперь уже осторожнее, объезжая препятствие, но копая вокруг. К обеду закончить им не удалось. Солнце клонилось к закату, и небо начинало окрашиваться в глубокие красные тона, обещая на завтра ветреную погоду.

В углу участка, там, где предполагался будущий огород, теперь зияла яма. Рядом с ней росла мусорная куча — то, что удалось извлечь. И выглядела она странно. Бочки — разного объёма, разного времени, разной степени ржавчины. Одни — старые, железные, с облупившейся краской. Другие — пластиковые, за годы материал стал хрупким, крошился под пальцами. Были и совсем ржавые, продырявленные насквозь, из которых сыпалась какая-то труха, перемешанная с землёй. Некоторые сохранили этикетки — выцветшие, нечитаемые, но всё ещё различимые силуэты черепов или предупреждающих знаков.

Земля сырая, уже начинала прихватываться вечерней прохладой и налипала на стенки бочек толстым, тяжёлым слоем. В воздухе витал странный запах — не резкий, но навязчивый, сладковато-химический, от которого слегка першило в горле.

Ивн постоял над кучей, разглядывая находку.

— Ну и наследство, — пробормотал он. — Хорошо хоть не трупы.

Рони хмыкнул, вытирая руки ветошью.

— В деревне без сюрпризов никак. Зато теперь знаете, что у вас в огороде. А то посадили бы морковь, а она бы химией воняла.

Нэнси подошла ближе.

— Это опасно?

— Да кто ж его знает, — пожал плечами механизатор. — Старые запасы. Может, и нет. Но лучше вывезти подальше, в специальное место. Я помогу, если что. Завтра продолжим.

Рони глянул на небо, на краснеющий закат и добавил:

— Темнеет уже. Пора мне, моя заждалась.

Ивн кивнул, поблагодарил, и трактор уехал.

Нэнси стояла у края ямы, втягивая носом вечерний воздух, и вдруг её кольнуло узнавание. Этот запах — сладковатый, химический, с тошнотворной ноткой — она уже чувствовала сегодня. Вчера. Во время уборки на кухне, когда ползала на коленях, вынюхивая проклятый кислый дух. И утром, когда Ивн показывал ей куклу. Тот же самый. Будто он сочился отовсюду — из стен, из пола, из этих ржавых бочек, что простояли здесь бог знает сколько лет.

— Пойдём в дом, — сказал Ивн, обнимая её. — Завтра разберёмся.

Нэнси поёжилась и отступила на шаг, будто земля под ногами могла разверзнуться.

Ивн уже прикидывал завтрашний план: куда вывезти мусор, кого позвать на подмогу, как управиться до темноты. В голове роились дела — работа, ночные выезды, земля, которую теперь не засадишь, не проверив, не пропиталась ли она этой дрянью, не отравит ли их будущий урожай.

Мысли текли врозь, но сходились в одном — в предстоящей суете. Каждый думал о своём, о том, что надо сделать, починить, решить.

Им предстояло разобраться с землёй. Но на деле — куда глубже. С историей дома. С теми, кто когда-то закапывал здесь своё горе — старательно, изобретательно, губительно. Кто прятал в грунт не только бочки, но и память с болью, что не смог пережить.

В кухне было тепло и уютно. Нэнси варила гречку с тушёнкой — быстро, сытно, чтобы накормить ораву. Ивн сидел за столом, изучая на телефоне, как оценивают землю после таких находок. Дети возились с игрушками — единственным пакетом из десятков перевезённых, что высыпали на пол в первую очередь, лишь бы занять малышню. Пластмассовые зверушки, кубики, машинки валялись вперемежку, близняшки с восторгом разбрасывали их по сторонам.

День выдался долгим. Ужин съели быстро, детей едва уговорили чистить зубы — глаза уже слипались. И только когда все уgomонились на матрасах в гостиной, Нэнси вышла в коридор и замерла.

На лестнице, ведущей на второй этаж, валялись тубы с плёнками — маленькие цилиндры, рассыпанные по ступенькам: одни прижались к стене, другие скатились почти до самого низа.

Нэнси подняла одну, покрутила в пальцах. Непроявленная плёнка. Сколько лет она здесь лежала? Двадцать? Больше?

— Ивн, — позвала тихо, чтобы не разбудить детей. — Иди сюда.

Мужчина вышел из кухни, увидел лестницу, усыпанную тубами, и присвистнул.

— Это откуда?

— Наверное, с той комнаты.

На втором этаже нашёлся и фотоаппарат. Старый, плёночный, тяжёлый. Ивн поднял его, повертел в руках, заглянул в видоискатель.

— Хорошая техника была. И плёнки... Нэнс, тут, наверное, целая жизнь отснята.

Они переглянулись. То, что считали просто хламом, оказалось чужой памятью. Чьими-то кадрами, застывшими во времени. Семья, жившая здесь до них, не просто бросила вещи — она оставила куски себя. Свои глаза. Свои воспоминания.

— Значит, помимо своих куч, нам предстоит разбирать и чужие, — вздохнул Ивн. — Которые уже сами вываливаются из комнаты.

Нэнси поёжилась. Она смотрела на тубы, на лестницу, уходящую в темноту, и в голове крутилось одно: завтра Ивн уедет рано, затемно. И она останется здесь одна с четырьмя детьми. Наедине с домом и вещами, которые кто-то бросил, утопая в горе.

Разбирать свои коробки, мебель, игрушки — привычный быт. Но трогать то, что осталось от других, от тех, кто пережил здесь страшное, кто потерял ребёнка и исчез, не попрощавшись, — это другое.

— Я не знаю, — тихо сказала она. — Что ещё там может быть? В этих коробках, в комнатах? Какие сюрпризы?

Ивн обнял её за плечи.

— Завтра решим. Ничего страшного. Старые вещи, посуда, одежда. Выкинем — и всё.

— Ты слышал, что Рони рассказывал. Они ... Не прощаясь. Не забирая вещи.

Ивн молчал. Ответа не было.

— Ладно, — сказала Нэнси, встряхнув головой. — Идём спать. Тебе рано вставать.

Он кивнул, поцеловал её и ушёл в гостиную, к детям. А Нэнси ещё долго стояла в коридоре, глядя на лестницу, на тубы с плёнками, на тёмный проём второго этажа. Там, наверху, кто-то притаился. И ждал, когда она поднимется. Бочки нашли. Значит, найдут и остальное.

Глава 7

Вставать Ивну пришлось не рано утром — настоящей ночью. Будильник взорвал тишину жалобным, надрывным писком, и мужчина, едва разлепив веки, нашарил кнопку, чтобы не разбудить детей. За окном стояла такая темень, хоть глаз выколи — ни звезды, ни просвета, будто дом заточили в глухую чёрную коробку, и никакой рассвет не мог пробиться сквозь эти стены.

Ивн сел на матрасе, растёр лицо ладонями — кожа горела, глаза резало от недосыпа. Спина затекла под тонким одеялом, в пояснице ныло — сказывалась вчерашняя суета. Он перебирал ногами по полу и вздрагивал. Доски казались влажными и липкими, будто их нарочно протёрли тряпкой, пока он спал. Босиком ступать не хотелось, но носки остались в куче вещей у стены, а зажигать свет было нельзя — дети. Он чертыхнулся про себя, натянул джинсы и вдруг впервые остро осознал: работа, хоть и стабильная, но далёкая, совсем не вписывается в эту новую жизнь.

Сельский уклад просыпается с солнцем, а не по будильнику среди ночи. Пока он будет тащиться по трассе, пока простоят в пробках, пока доедет — пройдёт полдня. И столько же обратно. А дел по хозяйству — непочатый край. Земля, эти бочки, разбор чужих вещей, дети, требующие внимания. Нэнси одна будет разрываться. И тогда, в этой липкой темноте, при жгучей усталости и холоде, скользящем по спине, сомнение шевельнулось где-то под рёбрами. Ивн тут же задавил его — нет, дом их, и это правильное решение. Но осадок остался, как тот сладковатый запах, что никак не выветривался.

Ивн глянул на жену — Нэнси уже не спала. Поднялась бесшумно, как тень, и теперь собирала ему питание на работу. Руки двигались привычно, экономно: ложка, контейнер, салфетка, баночка с салатом. Она наливала кофе в термос, и лицо её было спокойным, без тени тревоги за скопившиеся дела. С пониманием. С терпением. Но весь её напряжённый вид говорил о том, что надо что-то менять. Иначе она просто не вытянет.

Мужчина подошёл к жене, обнял со спины, уткнулся носом в макушку. От неё пахло домом — деревом, молоком, детьми.

— Ничего, — шепнул он. — На ярмарке в эти выходные поспрашиваю. Может, работёнка поближе найдётся.

Нэнси замерла. Потом медленно повернулась к мужу, и в глазах её, даже в полумраке кухни, вспыхнуло что-то тёплое, благодарное. Она прижалась к нему, и Ивн почувствовал, как расслабились её плечи.

— Я так рада, — прошептала она. — Что ты понимаешь. Что мы... что мы вместе.

— Вместе, — подтвердил Ивн. — И будем вместе. На ярмарку пойдём, я к мужикам примкну, разузнаю. Ты печеньем будешь торговать, а я пристроюсь куда-нибудь. Может, в магазин к Рони, может, ещё куда. Не пропадём.

Нэнси улыбнулась — той самой улыбкой, которую он так любил. Но в глазах её всё ещё держалась тень: недоверие к этому теплу, боязнь, что одинокое утро всё перечеркнёт.

— Ладно, поезжай. Иначе опоздаешь.

Ивн чмокнул её, схватил сумку с контейнерами и выскользнул на улицу. На крыльце его качнуло — то ли от усталости, то ли от резкого холода, который ударил в лицо после нагретой кухни. Небо низкое, звёздное, без луны. Холод заползал под куртку. И вдруг он понял остро и чётко: все деньги ушли в этот дом. На ремонт, землю, которую надо поднимать, окна, крышу. Отступать некуда. Назад дороги нет.

Мужчина стоял, вдыхая сырой воздух, и думал: «Как же я не хочу так дальше. Три часа туда, три обратно. Пять дней в неделю. А дома — она, дети, этот участок». Он представил

бесконечную череду тёмных подъёмов, трассу, пробки, своё вечернее возвращение, когда все уже спят. И внутри всё сжалось.

«Надо что-то менять, — решил Ивн. — Нельзя так. Я хочу здесь жить. Копать эту землю. Быть с ними. А не в пробках гнить».

Минивэн завёлся с пол-оборота, но руки на руле дрогнули. Ивн почувствовал тревогу. Она навалилась тяжёлым комком в груди, мешала дышать. Раньше такого не было. Раньше, когда он уезжал на работу, его охватывало странное облегчение — немного тишины, пусть и в дороге, смена обстановки, передышка от детского ора. Теперь всё было иначе. Глава семейства поймал себя на том, что смотрит в зеркало заднего вида чаще обычного, ловит исчезающий силуэт дома. Своего дома.

Теперь не дом был на краю света, а его работа. Ивн вырулил на просёлочную дорогу, впереди лежали три часа трассы, пробки, чужая суeta и люди, которым нет дела до того, что у него там, позади, осталась половина души. Он включил ближний свет, откинулся в кресле и понял: обратный отсчёт начался. Он едет туда, чтобы скорее вернуться.

Нэнси закрыла ворота. Щёколда скользнула в паз, и она на секунду прижалась лбом к холодному дереву — сил не было даже пошевелиться. Прислушалась — тишина? Нет. Ветер шуршит по траве, да где-то далеко лает собака. Но за этим ветром ей почудилось что-то ещё: будто половица скрипнула в доме, хотя она стояла на улице, а дети спали. Нэнси мотнула головой.

«Показалось. С усталости», — подумала она.

В сумерках дом смотрелся не хуже, чем днём. Очертания были важными, основательными, на веранде горел свет, и этот свет делал всё вокруг уютным и родным. Но внутри неё зрело смутное беспокойство. Нэнси поймала себя на том, что всматривается в тёмные окна, будто ждёт какого-то движения. Глупо. Просто дом пока чужой, просто первые дни, просто Ивна нет рядом. Надо привыкнуть.

Ветер поднимал волосы, путал их, бросал в лицо. Становилось холодно — осень давала о себе знать, температура падала. Нэнси продрогла в лёгкой кофте, но не спешила заходить. Стояла, глядя на дом, участок и тёмное небо с редкими звёздами.

— Два часа я позволю себе поспать, — прошептала женщина себе под нос. Голос прозвучал глухо, чуть дрогнул. — Потом дети встанут, и начну разбирать вещи. Успею — не успею — как пойдёт.

Хозяйка дома глубоко вздохнула, словно набираясь сил, выключила свет на веранде и зашла в дом.

В прихожей было темно, пахло деревом и ещё чем-то старым, затхлым, но она уже почти приняла это как данность.

«Старый дом, бывает, — подумала Нэнси, — просто надо его обжить — и запахи уйдут, всё станет своим».

Хозяйка прошла в гостиную, где на матрасах сопели дети, на секунду задержалась у проёма, прислушиваясь к их дыханию — ровное, спокойное. Всё хорошо.

Она оглядела комнату. Да, ещё вещи не разобраны, на окнах нет штор, голые стены. Но это их стены. Не съёмные, не чужие. Свои. И пусть усталость валит с ног, где-то глубоко внутри греет тихое, тёплое чувство: правильно сделали.

Нэнси опустилась на матрас, подложила ладонь под щёку, подтянула колени к животу. Сон пришёл мгновенно, тяжёлый и глубокий. Но перед тем как провалиться, Нэнси успела подумать: «Будет здорово, если Ивн сменит работу. Тогда дела точно пойдут в гору, да и спокойнее с ним».

Где-то на грани сознания, сквозь уже нахлынувшую дремоту, ей почудился мягкий шаг босых ног в коридоре. Она приоткрыла тяжёлые веки — никого. «Показалось», — подумалось сквозь сон. Но запах — тот самый, незнакомый, затхлый — вдруг стал гуще. Не бил в нос, не

душил, но пробился сквозь усталость и тяжесть, вполз в сознание липким, навязчивым дыханием. Нэнси хотела пошевелиться, но тело уже не слушалось — женщина провалилась в небытие, а запах остался, ещё мгновение вися над ней плотным, не рассеивающимся облаком.

Проснулась Нэнси значительно позже — от звуков беготни. Голова гудела: то ли от усталости, то ли от недосыпа, то ли на погоду. Шум был привычным для утра — дети носились, гремели, кричали. Кто-то из малышей радостно взвизгнул. Хозяйка не спешила открывать глаза, позволяя себе ещё минуту отдыха на тёплом матрасе. И в этом полусне вдруг дошло: звуки будто отдалённые. Не рядом. Словно доносились не из той же комнаты, а откуда-то из глубины, через толщу стен, через невидимое препятствие. Нэнси перевернулась, открыла глаза — и похолодела.

Синди и Кэнди сидели рядом — увлечённо перебирали конструктор, запускали машинки в общую кучу, гудели, стучали, были заняты своим миром. Их лица оставались спокойными, они не обращали внимания на шум. А мальчишки... Топот, крики, грохот — всё доносилось сверху. Из-под потолка.

В груди оборвалось что-то. Дыхание перехватило, и мир сузился до этого звука, до этого странного, дребезжащего эха, с которым детские голоса звучали неестественно — будто они обращались не друг к другу, а к кому-то третьему. Кто-то невидимый задавал тон, и дети отвечали хором, но с заминкой, словно в замедленной записи.

Второй этаж они с Ивном не ремонтировали и не разбирали — не было возможности, не дошли руки. В планах вообще было заколотить его до лучших времён, чтобы сберечь тепло на первом этаже, не тратить ресурсы на пустующие комнаты. Там до сих пор громоздились коробки, старая мебель, хлам прежних хозяев — пыльные горы, которые никто не трогал годами.

Нэнси вскочила, накидывая халат, и понеслась к лестнице. Ступени скрипели под босыми ногами — каждый звук отдавался в спине холодом, и этот холод полз выше, к затылку и вискам, сжимая голову в тиски. В голове билась одна мысль: только бы целы, только бы не упали, только бы не нашли чего страшного.

Женщина взлетела наверх — и замерла так резко, будто налетела на невидимую стену. Мальчишки сидели на лестничном пролёте, прямо перед дверью в ту самую комнату с плотными шторами. Алекс обернулся на её шаги и улыбнулся — далёкой, отсутствующей улыбкой, будто видел что-то, недоступное ей. В глазах его горел странный, недетский свет.

Дверь была приоткрыта — ровно настолько, чтобы в щель мог пролезть ребёнок. Изнутри тянуло холодом — не сквозняком, а тем особым, могильным холодом, что бывает в подвалах и забытых склепах, там, куда годами не проникал свет. И запах — тот самый, химический, сладковатый, тошнотворный, что она чуяла вчера у бочек. Но здесь он был гуще: обволакивал, лез в горло и ноздри, оседал на слизистой липким, невыносимым налётом.

В руках мальчиков были игрушки, которых Нэнси никогда не видела. Старый, облезлый индеец — с отбитым носом и выцветшими глазами. Юла, крутившаяся сама по себе с дребезжащим, натянутым звуком — будто внутри что-то застряло и тёрлось о металл. Несколько мелких солдатиков, покрытых слоем пыли и чем-то липким, поблёскивавшим в сумраке. И паровозик — жестяной, ржавый, с погнутым гудком, колёса его вращались медленно, без остановки, словно кто-то только что завёл его ключом и отошёл в сторону.

— Алекс, — выдохнула Нэнси, хватая ртом воздух, который здесь, наверху, казался холоднее и тяжелее. — Где вы это взяли?

Мальчик обернулся — глаза его горели восторгом, почти болезненным.

— Мам, смотри, тут так много игрушек! — голос звенел радостно, и сам он будто светился изнутри.

Женщина рванула к ним, схватила обоих в охапку, прижала к себе, загораживая от двери и этой щели, от того, что могло таиться там. Чужие игрушки — старые, пыльные, липкие. Игрушки того мальчика, что пропал на болотах двадцать или тридцать лет назад.

Нэнси не была суеверной. Она никогда не боялась мёртвых, не обходила чёрных кошек, не плевала через плечо — жизнь приучила её смотреть страхам прямо в глаза. Но здесь было иное. Эти игрушки не просто пахли пылью — в них жил тот странный, тошнотворный дух, что преследовал её со вчерашнего дня. Они принадлежали мёртвому ребёнку. И теперь её дети сидели у порога его комнаты, сжимали в руках то, к чему когда-то прикасались его пальцы.

Хозяйка жалела, что не избавилась от всего этого хлама в первый же день. Сожгла бы, закопала, вывезла на свалку — не глядя. Теперь поздно. Дети уже видели, уже трогали, уже считали своим. И попробуй объясни им, что брать чужое нельзя. Особенно такое чужое.

— Ждите здесь, — велела она мальчишкам, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Ни шагу дальше. Я сейчас.

Нэнси поднялась, выпрямилась и шагнула в комнату сквозь приоткрытую дверь. Запах ударил мгновенно. Он не просто витал в воздухе — он оседал на коже, на волосах, в горле, оставляя после себя тошнотворный, приторный привкус, будто комната сама выдыхала эту мерзость годами, пропитывая каждую щель и каждую половицу. Даже свет здесь казался чужим — мутным, неживым, разлитым болезненной желтизной по углам.

— Н-да, — выдохнула женщина, морщась и прижимая ладонь к лицу. — Уборка точно не помешает.

Нэнси подошла к окну. Плотные, когда-то бордовые шторы висели тяжёлыми, неподвижными складками и не шевелились, хотя от лестницы тянуло отчётливым сквозняком. Будто их держала невидимая рука. Будто кто-то не хотел, чтобы сюда проникал свет. Хозяйка взялась за край первой шторы, дёрнула с силой — карниз жалобно скрипнул, но выдержал. Вправо. Потом вторую — влево. Тяжёлая ткань с шорохом поползла, открывая окно.

Свет хлынул в комнату, но не разогнал сумрак — он лишь высветил грязь, копившуюся годами. Стекло было покрыто слоистым, мутным налётом с высохшими разводами и липкими кусочками, приставшими к поверхности. Казалось, в бесконечном ожидании на него дышали, снова и снова, размазывали ладонями, прижимались лицами — и оставляли следы. В некоторых местах налёт был настолько толстым и жирным, что свет едва пробивался, и сквозь него угадывались лишь смутные силуэты деревьев за окном.

На подоконнике лежали мухи. Мёртвые, высохшие, целый слой. Под ними темнели пятна, похожие на засохшую кровь или на то, что когда-то было жидким и липким. Некоторые ещё шевелили лапками, но их уже нельзя было спасти — они дёргались в предсмертной агонии, будто притянутые сюда той же силой, что держала шторы.

— Ну и вонь, — прошептала Нэнси, зажимая нос и рот одновременно.

Она потянула за шпингалет — тот поддался с противным визгом. Обе створки окна распахнулись, и внутрь ворвался свежий, ледяной воздух с запахом дождя, мокрой листвы и свободы. Старые занавески, когда-то белые, а теперь серые от времени, рванулись, заколыхались, заметались в оконном проёме, как раненые птицы. Они хлопали по стене, по стеклу, по подоконнику, сметая мёртвых мух вниз. Воздух стал чуть легче, но запах не уходил.

Нэнси повернулась, чтобы позвать мальчишек и отослать их вниз, — и замерла. Боковым зрением уловила движение: там, в глубине комнаты, чернел ещё один проём — дверь во вторую комнату. Свет из окна не доставал до этого угла, и в той темноте что-то было.

Нэнси не могла разглядеть детали — в глазах рябило от напряжения, — но отчётливо видела очертания. Тень, которая была темнее самой темноты, стояла, не шелохнувшись — не дышала, не моргала, просто стояла. И смотрела. Оттуда, из глубины, где даже свет распахнутого окна не мог ничего разогнать.

— Что за бред... — сорвалось с губ хриплым, дрожащим выдохом.

Тень не ответила. Но Нэнси почудилось, что та чуть склонила голову набок, как собака, которая прислушивается к незнакомому звуку. Медленно, почти незаметно.

Шаг вперёд. Половица под ногой издала протяжный, жалобный стон будто дом предупредал. Ещё шаг. Страх сковал тело: немели пальцы и хотелось бежать без оглядки, к детям и свету, но ноги не слушались. Надо было увидеть. Понять. Иначе этот страх останется навсегда.

Тень не уходила — напротив, становилась плотнее, объёмнее, будто питалась страхом. Теперь проступили детали: сгорбленные плечи, понурые, длинные спутанные волосы, грязными сосульками свисающие вдоль лица. Край тёмной бесформенной одежды — платье или балахон, не разобрать. Фигура стояла в проёме и смотрела. Прямо на Нэнси.

Рука потянулась вперёд. Пальцы дрожали мелкой, предательской дрожью, и не было сил их унять. Ладонь приближалась к границе света и тьмы, туда, где за проёмом не было ничего — только чернота. Ещё сантиметр. Ещё. До последнего теплилась надежда, что всё это — игра воображения, что сейчас моргнёт, и тень исчезнет, оставив лишь пыльный угол. Что рука встретит только воздух, паутину — и ничего больше.

Пальцы коснулись тьмы. И почувствовали холодное дыхание — оно скользнуло по коже, как язык ящерицы. Такое резкое, обжигающее, что Нэнси захотела отдёргнуть руку — не успела. Что-то сжало её запястье и тут же отпустило. Не сильно, почти ласково, но так неожиданно, что женщина не смогла даже вскрикнуть. Лёд пробежал по венам до самого плеча.

Запах усилился мгновенно — до рези в глазах, до спазма в горле. Теперь он заполнил всё: лёгкие, рот, нос, казалось, даже кожу. Кислый, сладкий, отвратительный — он тек из проёма, как вода из прорванной трубы, растекался по полу, поднимался к потолку. И в этот момент ставни окна сильно хлопнули. Громко, резко, так, что стены дрогнули. Следом — плач. Одна из девочек зашлась отчаянным, надрывным криком на одной высокой ноте, которая резанула по ушам острее любого скрежета.

Нэнси обернулась на звук — на долю секунды, только на мгновение отведя взгляд от проёма. Сердце забило с удвоенной силой — дети, дети внизу, что-то случилось? Когда она вернула взгляд к проёму — там осталась только пустая темнота. Ни тени, ни движения, никого. Только на полу, на границе света и тьмы, осталось влажное пятно. Запах не ушёл, но стал слабее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.